

ОЛЬГА
ПОГОДИНА-
КУЗМИНА

«НЕ ЧУЖИЕ»

И
ДРУГИЕ
ИСТОРИИ

КНИЖНАЯ
ПОЛКА
ВАДИМА
ЛЕВЕНТАЛЯ



Книжная полка Вадима Левенталя

Ольга Погодина-Кузмина
«Не чужие» и другие истории

ИД «Флюид ФриФлай»

2019

УДК 821.161.1-2
ББК 84(2Рос-Рус)6

Погодина-Кузмина О.

«Не чужие» и другие истории / О. Погодина-Кузмина — ИД
«Флюид ФриФлай», 2019 — (Книжная полка Вадима Левенталя)

ISBN 978-5-906827-75-3

Рассказы и пьесы Ольги Погодиной-Кузминой могут быть написаны на историческом материале и посвящены гениям прошлого – Николле, Толстому или Маяковскому с Лилей Брик, – а могут быть выдуманы от начала до конца. Но они всегда рассказывают в том числе и о нас с вами – о природе человека, о судьбе и страсти.

УДК 821.161.1-2
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-906827-75-3

© Погодина-Кузмина О., 2019
© ИД «Флюид ФриФлай», 2019

Содержание

Проза	5
Солнце Нижинского	5
Атмосферный фронт	25
Брить или Не брить	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Ольга Погодина-Кузмина

«Не чужие» и другие истории: [сборник]

Проза

Солнце Нижинского Дневники катастрофы

Горят щеки – значит, кто-то вспоминает. Я вспоминаю тех, кого люблю.

Что, если нас тоже вспоминают мертвые? Мне кажется, я чувствую, когда они молятся за нас. Я слышу странный гул внутри моей головы. Или это биение крови?

Танец у меня внутри.

Что теперь будет с нами? Что означает эта череда потрясений? Бог оставил нас?

Вскоре мы растворимся в забвении вечного сумрака, в бесконечной вселенной, в неизвестности черной дыры...

А может, он послал нам испытания, чтоб указать новый путь? Глупцы не слышат музыки милосердия, пусть грянет симфония гнева! Так думает Бог.

Я улыбаюсь. Даже когда умираю от страха. Никто не должен видеть мой страх.

На сцене следует улыбаться. Даже если играешь трагедию.

Аллегро мольто.

Аллегро.

Аллегро виваче.

Виво, виваче, престо!

* * *

Сегодня был странный сон. Мы шли по Набережной Неисцелимых – Дягилев и я. Он – значительный, высокомерный. Шиншилла – так его называли из-за рано поседевшей пряди, вот здесь, надо лбом.

«Шиншилла знает всё об искусстве! – шептались девочки в кордебалете. – Он играет на фортепьяно лучше нашего аккомпаниатора... Он лучший во всем!»

Дорогой Сережа! Шел рядом и ругал меня.

«Ты бездарность, тупица. Ничего не добила в жизни, и ничего не добьешься. Тебя взяли в труппу из жалости, ты ни к чему не пригодна...» Я пыталась возражать, вспоминала свои успехи, но он не слушал. С удивлением думала – за что? Ведь раньше он хвалил меня, а теперь так холоден и строг...

Я должна заниматься экзерсисом танцевальным. Я должна развивать мои мышцы. Я буду танцевать еще лучше. Сергей Павлович станет доволен... Он снова полюбит меня...

Дягиль – это лекарственная трава. В деревне есть такое слово – «дяглый». Это значит здоровый, сильный.

Я сильно любила его. И люблю до сих пор.

* * *

Я нашла волшебный фонарь, огарок свечи. Тени блуждают по стенам – карнавал, веселая толпа, гондолы у пристани. Доктор Песте, Моретта – молчаливая красавица, Пульчинелла – вечно обманут женой.

Ольга варит чай из брусничных листьев.

«Почему все эти дни я вспоминаю Сережу?» Она улыбается: «Ты забыла, сегодня его день рождения».

Боже, боже! Как можно забыть...

Который по счету? Я перестала слышать время!

Нашла календарь. 1872-й, високосный год, тоже начался в понедельник. Женщины носят пышные юбки, турнюры, локоны, вуали с мушками. Повсюду в Европе строятся железные дороги.

Состоялся первый международный турнир по футболу. Играли команды Англии и Шотландии. Не было забито ни одного мяча.

Первый Интернационал исключил из своих рядов анархистов, сторонников Бакунина. Победили идеи Карла Маркса: «С уничтожением классов должно само собой исчезнуть неравенство, несправедливость и угнетение одного человека другим...»

А что у нас? В Москве запустили первый трамвай на конной тяге. Достоевский печатает «Бесов» – роковую книгу, которая ничего не предотвратила.

Ольга, смотри, вот запись! «31 марта 1872 года, в Новгородской губернии, в усадьбе своих предков, родился будущий реформатор русского театра, Сергей Павлович Дягилев». Всего три строчки. И портрет.

* * *

Матильда Кшесинская родилась в том же году, в августе. Интриганка, насмешница, селимена – возлюбленная сразу нескольких принцев.

Премьера, триумф! Сколько цветов! Сколько оваций! Она бежит за кулисы, из груди доносится рыдание. К ней спешит хореограф.

«К чему эти слезы, Малечка? У вас колоссальный успех!»

«Да, но ведь у вас тоже!»

Такие ходят сплетни про нее. Мол, она не выносит соперниц и даже соперников, заставила Нижинского уйти с императорской сцены, уехать с Дягилевым в Париж.

Мол, по ее совету Нижинский в «Жизели» вышел в облегающем трико, которое своим откровенным видом оскорбило императрицу...

Нет, нужно совершенно не разбираться в деле, чтобы поверить в это!

Во-первых, что такое Императорский балет? Придворная служба. Дисциплина, иерархия, порядок. Костюмы утверждал сам Теляковский, артисты ничего не могли изменить. Во-вторых, Мария Федоровна выходила со спектакля спокойной и весьма довольной представлением – это видели сотни людей. В-третьих, Вацлав ни разу не обмолвился об этом случае, он не придавал ему значения.

Да, были интриги, доносы, зависть и ревность. «Нижинский слишком хорош, он затмевает партнершу». Но разве затмевал он Павлову, Карсавину? Нет, он им помогал парить над сценой. С ними поднимался ввысь, обращая тело в тот инструмент, которым говорит душа...

Я говорю Ольге:

– Знай, это неправда, что балерины желают друг другу зла: не получить роль, упасть, сломать ногу...

– Нет, конечно, нет! Одна балерина может желать другой только смерти!

* * *

– Второе апреля. Весь день идет снег, и батареи больше не греют.

– Вчера Ольга принесла откуда-то два сломанных стула. Дерево живое, оно горит веселее, чем уголь. Долго смотрели в огонь.

– Разве это не чудо, что в нашей комнате сохранился камин? Это знак свыше – значит, нам позволено жить, заботиться о телесном.

– Долго не спали этой ночью. Сидели, прислонившись спиной к теплу, опять вспоминали Дягилева.

– Почему Сережу лучше знают в Париже, Лондоне, в Америке, в Монако?

– Неудивительно. Звезда его вспыхнула и сияла там, на лучших европейских сценах.

– Да, это так. Из России он черпал сокровища памяти, здесь искал танцовщиков, композиторов, живописцев. Собирает редкостей, гранильщик бриллиантов.

– Он прививал толпе свой аристократический вкус.

– Но ведь на каждой афише значилось: «Русский балет! Русский балет!» Он первым ввел в моду русское, научился его продавать. Да, это стоило немалых денег! Труда, лишений, жертв. Это стоило жизни.

– В советском Ленинграде имя его было знакомо немногим. Он вернулся уже в Петербург, как и положено антрепренеру – на афишах, в концертах, спектаклях... После гибели телесной, в расцвете своего бессмертия.

– Разве это не странно, что он умер в Венеции? В городе вечного карнавала. Какую маску выберем для него?

– Он умирал тяжело, в горячке. Думал ли он о любви? О балете? О Боге? Или все мысли затмила чудовищная тень?

– Может, это он посылает мне сны из неведомого мира?

– Баутта, маска Казановы. Черная мантия, треугольная шляпа и белая маска, прикрывающая лицо. Голос под ней менялся неузнаваемо. Строгий и зловещий образ.

– Любовник, внушающий трепет.

* * *

Ольга пересказывает слухи. Все частные предприятия закрыты, работают только государственные. Электричество еще подают в больницы и школы, но скоро атомные станции исчерпают ресурс. Началась переделка храмов и мечетей – будут новые боги, другие обряды и молитвы. Говорят, в алтарях установят магнитные камни, излучающие сигналы в космос.

Я сказала: «Глупо надеяться на помощь – в космосе звучит такая прекрасная музыка, что никому нет дела до земных страданий».

Ольга озабочена земными делами.

Рабочим на заводах, инженерам, врачам, учителям начали выдавать продуктовые карточки, теплые вещи. Но для получения нужно присягнуть новому правительству и пройти обряд отречения от прежних верований.

Но самое странное – люди всё еще ждут наступления весны. Об этом говорят на рынке. Мол, солнце иногда виднеется сквозь облака, значит, земля не так уж сильно отклонилась от своей орбиты.

Конечно, есть и те, кто разделяет мрачные прогнозы. Постепенно остывая, Земля окончательно удалится от солнца. Снежный покров будет становиться всё толще, превращая планету в огромный ледяной саркофаг.

Балет – предчувствие катастрофы, мир теней.

Нижинский!

Призрак розы – во всем, что он делал и говорил.

А я – лишь мумия розы на его саркофаге.

* * *

Мы с Ольгой помним слишком много. Мы помним время, когда снег еще убирали с улиц. Теперь, когда у нас украли лопату, мы можем оказаться в сложном положении. Если дверь завалит снегом, Ольге придется выходить из дома через окно. Хорошо, если сугробы будут плотные, она сможет легко спрыгнуть и подняться обратно.

Она сказала – тогда и *другие* смогут залезть. Я не знала, что на это ответить.

Разрушение так же старо и скучно, как строительство. Как верно он заметил. Милый, несчастный Александр Блок... Потому что и разрушают, и строят рабы. Мы все – рабы своих потребностей: мы не можем не спать, мы не можем не есть. Мы всё время будем строить и разрушать, оставаясь рабами, пока не придумаем что-то третье... Раньше мне казалось, что третий путь – творчество. Мой танец в облаке души...

Творчество соединяет в себе созидание и разрушение, как глина соединяет в себе землю и воду. Но это всё те же земля и вода... Чтобы глина стала амфорой, нужен огонь. И воздух.

Я, сотворенная из земли и воды, жива, пока во мне теплится огонь. Но всё, о чем я думаю сейчас – как заново открыть этот способ подняться в воздух?

* * *

Два часа занималась у станка и упала в обморок от голода. Ольга пошла на толкучку продавать вещи. Ольга очень любит меня.

Попросила ее купить толстую тетрадь. Буду записывать сны и перечитывать записи. Мир прошлого – единственное место, где сохраняется живая, теплая реальность. В настоящем только зима, холод и смерть.

Если думать о том, что происходит, можно сойти с ума. Повернуть время вспять, вернуть ушедших, чтобы не помнить о настоящем.

Голоса из прошлого внушают мне больше доверия, чем мой собственный голос. Но я должна говорить. Я буду говорить одна в пустой холодной комнате, иначе я сойду с ума...

Сальвадор Дали обещал какому-то американскому музею сфотографировать Бога за 150 тысяч долларов. Жаль, что у меня нет этой фотографии. Я бы поставила ее на тумбочку рядом с кроватью.

Ницше не мог поверить в бога, который не способен танцевать. Я тоже не приму такого бога. Балет – боль – Бог.

Радость! Танец – это радость... Танец – это любовь.

* * *

В театре Сергей Павлович часто принимал высокомерный, необычайно отталкивающий вид, надевал монокль и едва здоровался с простыми танцовщиками. При этом с самой приятнейшей улыбкой кланялся высокопоставленным знакомым... Теперь смешны эти обиды. На Дягилева нельзя сердиться, особенно во сне.

Что испытывает человек, не одаренный божественной искрой, но жадно стремящийся к творчеству?

Пишет о себе:

«Я шарлатан, притом исполненный блеска; великий чародей; нахал; человек, обладающий большой долей логики и малой – щепетильности; человек, удрученный, кажется, полным отсутствием таланта. Кстати, видно, я нашел свое истинное призвание: меценат. Для этого у меня всего есть в достатке, кроме денег, но это придет со временем!»

Ему двадцать три года, он влюблен в искусство, в себя в искусстве, в зеркальное отражение, в свое блестящее будущее...

Ольга принесла мороженой картошки и крупы.

– Прекрасно! Станем варить похлебку в самоваре.

– Глупости. Есть же кастрюля.

– Но я хочу в самоваре! Как Марина Цветаева в 1919 году!

Грели воду, стирали белье. Мыли друг другу волосы над тазом.

Снег идет бесконечно.

Мне говорил один поклонник: вас нельзя любить. Обнимаешь – будто в руках бьется птица.

* * *

Сегодня видела во сне хорошее, но когда проснулась, всё забыла.

Ольга любит меня, но она совсем не умеет торговаться. Выменяла чернобурку на несколько вареных картофелин. Я люблю свои меха...

Теперь мой воротник наденет чужая женщина, чтобы пойти на улицу развратничать с солдатами. Нет, солдаты – не совсем верное слово. Варвары? Басурмане? Не знаю, как их назвать. Голодные лица, зубастые рты. Клекот вместо речи. Они не поймут балет, даже если им объяснить. Впрочем, им ничего не объяснишь.

Но те, кто правит солдатами – страшнее всего. Однажды я стояла за оцеплением и видела их, выходящих из автомобилей. Эти маски на лицах, плащи, капюшоны. Да люди ли они? Под мрачной униформой может скрываться что угодно. Гигантские рыбы, рептилии или просто – темная пустота.

Хотя еще страшней думать, что невесть откуда пришедшие чужаки – такие же люди, как мы.

Они – это мы завтрашние. Или вчерашние.

Мы рано ложимся, что еще делать в такую погоду?

Ольга шепнула мне перед сном, слышала, как говорят на рынке: «Новые власти хотят открыть театр!»

* * *

Сегодня – странное происшествие!

Приходил незнакомец в дымчатых очках, закутанный в шарф. Принес кофе, сахар, коробку конфет, лимоны, консервы. Сказал, что он давний мой поклонник... Я не могла разглядеть его лица.

Надела бархатное платье, норковое манто. Ольга сварила кофе. Мы сели за стол и представляли, будто жизнь идет прежним порядком. Будто слово «балет» еще что-то значит.

Можно не думать о том, что снег больше не тает. Забыть, что на улицах режут, сажают на кол, жгут дома.

Обжигающий кофе, конфеты – было сладко и хорошо. Совсем как раньше, рассуждали о политике – но не всерьез, а что-то легкое, ни к чему не обязывающее.

Гость говорил: «У нас в России люди разделяются на две категории – на вечно „во весь голос“ протестующих и на вечно покорно молчащих. И то и другое одинаково бесцельно, так как при этом у нас совершенно отсутствует третья категория – людей что-либо „делающих“».

Эти рассуждения о всеобщей праздности звучали так очаровательно старомодно. Сейчас ведь все что-то делают. Вернее, делают всего два дела – одни убивают, другие отчаянно пытаются не умереть.

Я говорила откровенно. Спрашивала о басурманах – кто они, откуда пришли? С неба, из-под земли? Как это связано с катастрофой? Что будет с нами, если зима продлится еще один год? Неужели на юге, в тропиках, на экваторе тоже зима и теплые моря покрыты льдом?

«Мадам, я надеюсь на лучшее. Человечество найдет способ спасения. В отличие от динозавров люди – весьма живучие существа».

Он пробыл не больше часа, стал прощаться. Перед тем как поцеловать мне руку, снял очки.

Басурманские глаза! Сплошь чернота, без радужки и белков. Я застыла от ужаса.

Слишком поздно поняла, он – один из них.

Говорят, они никогда не видели солнца.

* * *

Нижинский, как и Дягилев, родился в начале весны. Двенадцатого марта 1889 года. В Киеве, в семье балетных танцовщиков. Мать и отец родом поляки, католики, крестили сына в Варшаве, в костеле Святого Креста, где покоится сердце Шопена.

Когда мальчику было восемь лет, родители развелись. Мать с тремя детьми отправилась в Петербург искать заработка и счастья.

Вацлава удалось устроить в Императорское балетное училище. Младшую Брониславу тоже приняли на полный пансион.

Старший брат Стасик выпал из окна и разбил голову. Пришлось отдать его в психиатрическую лечебницу в Лигово.

Часто говорят – в безумии есть высшая цель, безумец иначе видит мир, это расплата за гениальность. Стасику не было и десяти. Он остался в сумасшедшем доме на всю жизнь. За что Бог потребовал от него расплаты? Трудно верить в предопределение, когда страдают дети.

Сон жуткий – черные глаза впиваются в мое лицо и прожигают кожу. Подхожу к зеркалу – на щеках, на лбу, на груди – страшные дыры, насквозь, как пулевые отверстия в железной двери.

Я видела такую дверь в стене разрушенного дома. Сквозь дыры проникал слабый сумеречный свет.

Ольга говорит, этот кошмар от непривычной пищи. Мы ели всё подряд – рыбу, апельсины, яблоки, конфеты. Как беспечные дети в праздник.

После еды чувствуешь свой желудок. Нельзя танцевать с переполненным желудком.

Неужели Гость к нам больше не придет?

* * *

На рынке рассказывают: был пожар в квартире ресторатора, который поднес мне к юбилею те изумрудные серьги. Настоящее сокровище, Ольга их обменяла на полмешка мороженой картошки и бутылку прогорклого масла. Что? Ах да, была еще пшенная крупа. Мы почти не были знакомы, но я хорошо запомнила этого человека, его улыбку – хитрую и добродушную.

К нему пришли под видом обыска, завели в спальню, ударили по голове и задушили простыней. Затем пили его коньяк и несколько часов насиловали его молодую жену, а потом задушили и ее. Затем подожгли квартиру.

Нет, это сделали не чужаки, а рабочие, которые еще до катастрофы отделявали для него бассейн мраморными плитами. Пятилетнего сына они оставили в живых, но ребенок задохнулся во время пожара.

Мы с Ольгой видели дым из окна. Не уверена, что это был тот пожар... Сейчас много подобных случаев. Ольга говорит, что не может осуждать убийц. Они давно ненавидели нас за изумрудные серьги, за фальшивые благотворительные аукционы, за мраморные бассейны в особняках, за брильянтовые ошейники для собачек. За все годы унижения и уничтожения, когда их трудом и потом, болезнями их жен и детей оплачивалась роскошь сытых... Если бы пять лет назад ресторатор мог предвидеть, чем всё закончится, он бы, наверное, заплатил своим рабочим по справедливости.

Жаль, что справедливость существует только в нашем воображении.

«Творец должен любить лишь красоту и лишь с нею вести беседу во время нежного, таинственного проявления своей божественной природы. Реакция искусства на земные заботы и волнения недостойна этой улыбки божества...»

Удивительно милый смех. У него удивительно милый смех... Говорили, что в нем есть что-то страшное, что он ходит «не один». Много цинизма – и в денежных вопросах, и в отношении к людям. В этом была его сила, но и слабость. Он хотел, чтобы искусство возбуждало чувственность.

Всё в Дягилеве необычайное и значительное... Он открывал миру гениев.

Брат Дягилева, Валентин Павлович, был штабным офицером, принял революцию, преподавал военную историю. Арестован в двадцать седьмом и расстрелян в Лагере особого назначения на Соловках в том же 1929 году, когда умер Сережа. Самый младший брат Георгий, музыкант-любитель и художественный критик, после революции занимался ткацким производством, был осужден с конфискацией имущества и сослан в Сибирь. Умер в 57-м году под Ташкентом.

* * *

Мы приносим с чердака и пилим деревянные балки. Весь пол покрыт опилками, как цирковая арена. Делаю экзерсис, смотрю в окно.

– Какое сегодня число?

– Двадцатое.

– А месяц?

– Кажется, апрель.

– А год?

– Разве это еще имеет значение?

Ужас безумия начинается не тогда, когда принимаешь фантазии за реальность. Наоборот – это реальность становится неуловимой и жуткой, растворяется в воздухе, течет между пальцев.

Все, что происходит сейчас, похоже на нескончаемый сон. Реально только то, чего не было.

Одеваюсь в прихожей, хочу идти.

– Куда?

– На площадь. Встану посередине и крикну людям, солдатам, безмолвным пугающим маскам в окне: «Верните мне танец!!!»

– Тебя арестуют.

– Не важно, они должны знать. Балет – это радость! Мы танцевали радость! Балет – это праздник, волшебство, карнавал!

Ольга снимает с меня шубу, захлопывает дверь.

– Балет – это похороны. Брежнев... Андропов... Черненко.

Что? Ах, да. Шутка. Она пытается меня развеселить.

Улыбаюсь, чтобы ей сделать приятное.

Я тоже помню эту череду правительственных похорон, и «Лебединое озеро» по телевизору, и заводские гудки. И разлитую в воздухе недобрую усмешку.

Похороны Ленина.

Похороны Сталина.

Нескончаемая толпа течет по улицам, клубится у входа на площадь. Давка, рыдания, крики. Конная милиция, оцепление. Венки, целые ведра цветов.

Как будто сыгран великолепный спектакль, и публика не хочет отпускать артистов.

Звучат продолжительные аплодисменты.

* * *

Холера. Голод. Тиф. Цинга. Изуверство. Крысы питаются мясом повешенных.

Художник Серт сказал: «Знаете ли вы, мадам, что аист может умереть от голода, даже если положить перед ним гору лягушек? Достаточно подпилить ему клюв, и он утратит чувство расстояния».

Его жена, Мися Серт, всё время болтает о русском балете. «Ты не можешь себе представить, Коко, как это прекрасно! Когда ты это увидишь, твоя жизнь преобразится».

Мадмуазель Шанель, ей чуть больше сорока. Такая моложавая, что в документах убавила себе десять лет. Мися рассказывает ей о русских, о Дягилеве – называла его Дяг, – пичкает своими воспоминаниями. «Она меня очень развлекала».

Сидели вместе, он ворвался к Мисе – сбежал из Лондона, разоренный постановкой «Спящей красавицы». Коко поднялась: «Приходите ко мне, я живу в отеле „Ритц“. У меня есть деньги, я хочу помочь. Сколько вам нужно?»

Шанель тут же дала ему чек. Они даже не были знакомы. Дягилев боялся ее. Он, все-сильный Дягилев, подтягивался в ее присутствии, чтобы не допустить оплошность, не сказать что-то неподобающее...

Серж Лифарь объяснил ей после смерти Сергея Павловича:

«Ты давала деньги и ничего не просила взамен. Он не понимал. Это его пугало».

Это правда. Дягилев жил в вечном страхе. В страхе, что его замыслы не осуществляются, идеи не будут приняты публикой, что на него свалятся непредвиденные проблемы, не будет денег на новые спектакли... Он был беспощаден к себе и не жалел других. Он загонял танцовщиков. Заставлял работать до изнеможения, требовал знать всё и обо всем, ходить по музеям, разбираться в литературе. Он говорил только об искусстве. Он был тяжелый человек...

Его последний секретарь, Борис Кохно, только пожал на это плечами.

«– Дягилев боялся мадмуазель Шанель? Да нет же, он ее любил. Дягилев был русский человек. Он верил в бескорыстные побуждения. Это казалось ему естественным.

– Несмотря на то, что Коко была родом из Оверни?

– Несмотря ни на что».

* * *

Заметила странное соседство в книжном шкафу. Нужно уметь читать знаки. Ольга считает – это всё мои фантазии. То же, что угадывать фигуры в облаках. Ей не объяснить, что на

языке знаков с нами разговаривает Вселенная. Она думает, что понимает меня. Но она меня не чувствует.

Ахматова, под ней «Улисс», Достоевский вверх ногами, Сорокин «Роман», По, без имени – но я знаю, что это Эдгар По. «Русский балет». Снова Достоевский, над ним – «Миф и человек. Человек и сакральное». Рильке. Цветаева. «Смерть театра». Нижинский. Нижинский. Нижинский...

После меня никто не откроет этих книг, люди больше не читают. Скоро все книги сожгут в печах. Мне жаль их, как осиротевших детей.

Каждый раз, когда узнаю, что человек меня любит – удивляюсь, не любит – удивляюсь, но больше всего удивляюсь, когда человек ко мне равнодушен.

* * *

Сцена – Цветаева писала – это «поднятая от земли площадь, и самочувствие на ней – самочувствие на плацдарме, перед ликом толп».

У сцены свой закон – беспощадный. Ты вышел один, говорящий за всех. Или один против всех.

Мое место – на сцене.

А Нижинский? Он выше. НАД сценой. Как Бог над нами. Бог танца.

Танец никогда не лжет.

* * *

Вчера снова приходил тот незнакомец. Оставил охрану на лестнице – только теперь я заметила, он ходит с охраной. Снова принес фрукты и конфеты, печенье, масло, шоколад. И отдельно на блюде – жареную рыбу с картофелем. Мы устроили пир.

Говорил – если бы всё шло своим чередом, я бы сегодня танцевала в жарко натопленном зале Дворянского собрания или в Царском Селе, а он, скромный переводчик, сопровождающий высокую делегацию, один из всей публики ощутил бы мое одиночество. Говорил, что чувствовал именно это, хотя я убеждала – нет, вовсе нет, я всегда танцевала радость!

Помнит все мои спектакли – каждую партию, каждый год, каждый месяц и день. Это странно, ведь многое я сама давно забыла. Хранит программки, билеты с премьер. Помнит, в каких платьях, в каких драгоценностях я выходила на каждом бенефисе. Говорит, что товарищи по партии подсмеиваются над ним за старомодное увлечение балетом.

Искала в нем признаки жеманства, присущие мужчинам, которых манит к балету жар любово-страстия, обнаженная телесность других мужчин. Один из них когда-то с изысканной любезностью признался: «Есть вид физического наслаждения, которым я никогда не смогу оскорбить даму». – «Ах, князь, вы готовите себе очень грустную старость», – ответила я...

Нет, нет, он не дает повода усомниться. Он исполнен рыцарства и мужественности.

Как давно я не слышала стихов! Как давно в этих комнатах не звучала иностранная речь. *Du bist im Schnee begraben, mein Russland...*

Он дал понять, что близок к высшим кругам и знает их цель. Оказывается, катастрофа преобразила мир не повсеместно. В Африке нет снега – напротив, там установился благоприятный климат, близкий к субтропическому. Там создается новое государство предприимчивых людей, с фантастической скоростью строится оборонительная линия...

Говорил, что не сочувствует страданиям богатых. Что сам он такая же дрянь, уходящая натура. Он образован, знает шесть языков, не считая двух мертвых.

Мир никогда уже не станет прежним, а новый мир скоро забудет смысл таких вещей, как балет, стихи, философия, этика вместе с эстетикой. Люди будут знать лишь смысл хлеба и

одурманивающих веществ. И удовольствия грубого разврата. Говорил, что в оппозиционном правительстве все опиисты, наркоманы. Их сексуальная жизнь принимает странные формы.

Сказал, что принято тайное решение о расстреле Властителя и его семьи, содержащихся в казематах в Кремле. Что этот гуманный приговор – уступка западным державам. Но для главы правительства, министров, губернаторов областей и членов их семей будет применен протокол казней номер один. Это значит – вырывание ноздрей и языка, прободение внутренностей через сажание на кол и всесождение в жертву новым богам. Точная дата народного торжества пока не назначена – звездочеты вычисляют день благоприятного положения планет.

Я заметила, что, когда он говорит, он становится очень красив. Басурманский принц. Смуглая кожа не розовеет, а бледнеет от волнения.

Откланялся в девять вечера, испросив разрешения навестить нас снова. Очень корректный, затянутый в эту элегантно-зловещую униформу, которая раньше так пугала меня.

Вот только глаза... Как он раньше ходил среди людей неузнанный, с этими нечеловеческими глазами?

Ольга слушала с трепетом, словно хотела броситься к его ногам. Ночью она рыдала в своей постели. Говорит, что ей жаль дочерей Властителя. Она бывает очень впечатлительной, это утомляет.

И всё же меня что-то в нем беспокоит. Не люблю людей с задней мыслью. Никак не могу вспомнить. Не могу вспомнить, где я видела его лицо...

* * *

Вспоминаю прошлое, будто раскладываю пасьянс. Карты перемешаны на столе, как умершие и живые в моей памяти. Остается только наблюдать, в какой причудливый рисунок соединятся их судьбы.

Каждую жизнь можно рассматривать лишь как последовательность случайностей.

Если бы отец не оставил семью, если бы мать не приехала в Петербург в отчаянном стремлении поднять на ноги троих детей, один из которых был безнадежно болен... Если бы она не преуспела в своем желании правдами и неправдами устроить младшего сына в Императорское училище, на казенный счет. Чиновничье жалованье, возможность обрести высоких покровителей, пенсия по выслуге лет. Хотя и скудно, но обеспеченная старость...

Если бы был безвозвратно исключен из школы за мальчишеские шалости? Если бы не русые волосы, чистая кожа, ясный взгляд? Если был бы некрасив, как сестра Бронислава, чей удел навечно – терпение и труд, силовые, характерные партии, робкий взгляд из тени великого брата?

Если бы неточные пропорции его мускулистого тела не помогали подниматься в прыжке так высоко над сценой без видимых усилий? Чудо, противоречащее законам физики, словно капли дождя, падающие вверх?

«Я хочу быть досками пола, по которым вы танцуете», – шептал неистово Жан Кокто. Поэт и рисовальщик, худой и подвижный, как кузнечик, с румянами на щеках и накрашенным ртом.

Бронислава спросила: «Но почему он красится?» Вацлав смеялся: «Это же Париж!»

Париж лежал у его ног. Его лицо смеялось и хмурилось сквозь призмы сияющих витрин. Он был неразговорчив, погружен в себя.

Мне почему-то представляется, что он принял успех, как ребенок принимает долгожданный рождественский подарок. Возбужденный, покрасневшийся, мальчик вбегает не в комнату, но в мир волшебной сказки, пахнущий хвоей и мандаринами... Лица родных кажутся незнакомыми, привычные предметы преобразились. Всё замерло в ожидании... Замедляя шаг, он подходит к волшебному дереву, сверкающему сотней разноцветных огоньков... И там...

Да! Он знал, что на этот раз взрослые поймут деликатную вязь намеков и жадно-сдержанных взглядов, когда уже два месяца путь к дому или из дома всегда ведет мимо этого магазина, где на видном месте, в самом центре витрины... Да, да, ошибки быть не может, это там – в большой нарядной коробке, перевязанной лентой, украшенной бантом. Да, это счастье – необъятное, совершенное, не рассуждающее...

Грохот аплодисментов. Ослепляющие вспышки. Острый блеск драгоценностей, перчатки дам. Белые руки плещутся в партере, как стая гусей, шумно взлетающих над озером.

Успех. Слава. Как это сладко – проснуться знаменитым, в свежих простынях парижского отеля, когда комнату перерезывает луч между неплотно задернутых штор. Лежать и думать о том, как хорошо и странно было вчера. Мгновенье полной тишины. Шаг к рампе, в перекрещивание лучей из прошлого в будущее, как звездоплаватель на неизведанную планету...

Потом, в гримуборной, шла носом кровь. Вытолкали поздравляющих, остались вдвоем. Камердинер Василий растирает и моет ноги, он всегда рядом, при нем можно не сдерживаться. Вместо слов Сергей Павлович неловко нагнулся, поцеловал ступню...

Затем, пьяно пошатываясь под тяжестью букетов, идти по узким коридорам, темным лестницам к служебному выходу – Василий следом несет корзины, Дягилев налегке... Авто, сверкающий зеркалами зал ресторана, снова цветы. Пить шампанское, не чувствуя вкуса... «Почему вы совсем ничего не едите?» «Я не хочу». «Вам нужно»... Душная ночь, разметавшийся во сне Париж. Кто привез? Как уложили в постель?

Не помню!

Поцеловал ногу.

От этого можно сойти с ума.

* * *

За оградой гасли маки,
Ночь была легка-легка,
Где-то лаяли собаки,
Чуя нас издалека...

Слава упала на его мальчишеские плечи, как горностаевая мантия. Тяжелая, душная, роскошная – мешала двигаться, мучила ночными кошмарами. Просыпался от крика: «Вы ставите балет моими ногами!»

На приеме у светской дамы стал грызть стакан. Обедали в ресторане. Стал требовать, чтобы из зала удалили людей, которые смотрят на него. Дягилев опрокинул бокал с вином – отвлек внимание, ушли.

Ездили в Брюссель, к Ротшильду. Говорили о том, что в застывших, классических формах творчество вырождается. Что искусство должно развиваться как живой организм, искать и находить новые средства выражения для новых идей.

«...глубокая подготовка и самоуверенная смелость. Надо идти напролом. Надо поражать и не бояться этого, надо выступать сразу, показать себя целиком, со всеми качествами и недостатками своей национальности...»

Путь Дягилева схож с путешествием Колумба. Решив открыть миру Россию, он вместе с этим открыл территорию нового искусства.

Страстно доказывал: русские – не варвары, не язычники, не огнепоклонники. Нет, мы – жрецы истинной мудрости и красоты! И в доказательство предъявлял миру бога танца, Нижинского – поклоняйтесь ему, безумствуйте, приносите жертвы.

Я был мальчиком, и отец хотел научить меня плавать. Он меня бросил в купальную воду. Я упал и пошел на дно. Я не умел плавать, но я почувствовал, что не имею воздуха, тогда я закрыл рот. Я пошел прямо, куда – не знаю. Я шел и шел и вдруг почувствовал под водой свет.

Больные больше чувствуют, ибо думают, что умрут скоро. Больные работают над Богом, не зная того.

Всю ночь я бредила Вацлавом.

Его лицо. Его губы. Его глаза. Его сердце.

Солнце Нижинского!

* * *

– Талант попадает в цель, в которую никто не может попасть, гений – в цель, которую никто не видит.

– Вы не видите цели?

– Разумеется, нет. Однако я чувствую себя прекрасно. Если не брать в расчет обстоятельства.

– Какие?

– Вся наша жизнь – игра.

– Что из этого следует?

– Вы не заметили, балет куда подробнее и глубже, чем драма и даже трагедия, исследует случаи патологических влечений, странных одержимостей?..

– Примеры?

– Ну как же! Эта жестокость и холодность к покинутым возлюбленным, бред любовного очарования, внезапное безумие. Мы наблюдаем не столько танец, сколько картины психических болезней...

– Просто вы не знаете, что такое настоящее безумие.

– Не знаю. Скажите.

– Когда у вас даже психиатр – воображаемый.

* * *

«Одичание – вот слово! Итак, одичание. Черная, непроглядная слякоть на улицах. Фонари – через два. Пьяного солдата сажают на извозчика (повесят?). Озлобленные лица. Языка нет. Любви нет. Победы не хотят, мира – тоже. Когда же и откуда будет ответ?»

Проснулась – камин остыл, нет угля. В комнате дикий холод. Вспомнила – апокалипсис, вечная мерзлота, конец империи. Боже, прости нашу беспечность. Думала о море, представляла, как чувствую ступнями горячий песок... Летний дождь. Драгоценная осень. Нежная весна. Солнце, трава, птичий гомон – неужели этого уже никогда, никогда не случится снова? Неужели я больше никогда не увижу цветов?..

Через два-три дня после премьеры Ольга выбрасывала их – охапками, как сено. Отмывала вазы. В квартире стоял тонкий болотистый аромат...

На толкучке продают приборы, которые теперь никому не нужны. Электростанции остановлены, топлива нет. Даже те, кто успел запастись генератором, не тратят бензин на развлечения – только на поддержание тепла и приготовление пищи. Беспольные телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны никто не покупает.

Информационные войны, социальные сети, политические шоу – весь ком наших мелких и глупых страстей сам собой обрушился в бездну. Вокруг только снег. И мягкая, колыбельная тишина.

Мы слишком громко кричали, не слыша друг друга, мы были назойливы и самодовольны. И вот нас заставили замолчать.

Я жалею только о том, что ни один театр не осветится больше сотнями огней хрустальной люстры, софиты не залиют призрачным светом сцену, и лампочка на пюпитре дирижера не зажжется в сумраке оркестровой ямы, как путеводная звезда...

Человечество умрет в безмолвии и темноте.

* * *

Нижинский начал придумывать «Послеполуденный отдых фавна». Хореография, распи-
санная по тактам музыкальной пьесы.

Газеты писали:

«Он напоминает самца пантеры, если только сын женщины дерзнет сравниться с подоб-
ной красотой. Он владеет даром перемещаться в красоте, держа в ней свои линии в неизмен-
ном равновесии. У него есть чутье полезного совершенства, и в каждом мускуле, и в игре их
всех, как у пантеры. И так же, как у нее, ни одно движение не лишено могущества и грации
в этом великолепном существе. Пантера также и в том, что его самые стремительные прыжки
таят в себе какую-то медлительность, настолько они верны. Да, в этой силе столько грации, что
он заставит верить, что он ленив: как будто нерастраченной силы остается всегда с лихвой».

Пока он ставил «Фавна», Дягилеву нравился замысел, детали, композиция. Но за репе-
тициями наблюдали приближенные, другие артисты. Они предрекали провал.

За несколько дней до начала парижских гастролей Сергей Павлович сказал, что балет
нельзя выпускать, нужно менять всю хореографию.

Вацлав устроил скандал в ресторане «Сиро», в присутствии гостей.

– Я всё брошу и уйду из Русского балета! Но я ничего не изменю в своей постановке!
Ты слушаешь, что говорят вокруг... Но ты не имеешь права поддаваться на эти разговоры! Ты
должен исходить из требований истинного искусства!..

Дягилев возбужден не меньше.

– Я больше не могу так! Я распушу труппу. Я не могу стоять во главе труппы, где к
моему голосу не прислушиваются и я не могу принимать решений. Вацлав еще мальчишка,
ему двадцать один год!..

– Ему двадцать три.

– Он не хочет слушать ни слова критики! Я такое в Париже не покажу! Пусть Ваца так
и знает! Это никакой не балет. Вы можете передать это своему брату, больше я с ним вести
споры не намерен!..

Что делать? Тут явился Лев Бакст, руководитель художественной части.

– Это гениальное произведение, а вы идиоты, если этого не поняли. Вы увидите, Париж
будет в диком восторге.

Дягилев сдался:

– Что ж, посмотрим... Попробуем.

Спектакль отыгран, звучат последние такты. В зале – гробовое молчание.

Дягилев вбежал за кулисы, крикнул, чтобы всё повторили еще раз. Мы встали в позиции.
Занавес снова раскрылся, музыка вступила.

Нижинский повернулся к залу.

Юноша-фавн отдыхал на пригорке, увидел нимф, спешащих к ручью, погнался за ними.
Одна обронила газовый шарф. Он поднял.

Шесть секунд плавного, тягучего движения, будто во сне – обрывок кадра. Всё, что сохра-
нила киноплёнка.

Зал взорвался криками и грохотом. Это был сумасшедший, оглушительный фурор!

Чудо – приближение к Богу. Для тех, кто видит. Но какова цена для тех, кто совершает чудо? Или для того, кто сам отчасти – бог?

* * *

Ольга ходила на рынок. Сказала, что кошки и собаки совсем исчезли с улиц, но остались крысы. Затем, помолчав, добавила, что давно не видела детей.

Дети перестали рождаться – вечная зима. Человечество погибнет с последним поколением. Пусть, мы это заслужили.

«Но куда делись дети, рожденные до катастрофы?» – спросила она.

– Видимо, их прячут родители. Дети лежат в своих домах, в нагретых кроватях. Их не отпускают на улицу, где снег, пожары, болезнь... Как тот мальчик, сын ресторатора, которого родители прятали в спальне.

Ольга промолчала. Мне не понравился ее взгляд.

* * *

– Видимо, наш гость – Восточный принц, как называет его Ольга – больше не придет. Это к лучшему. Я не могу ему доверять.

– Отчего?

– В жизни осталось слишком мало подлинных вещей. В конце истории человек оказался в мире подделок. Искусственный разум, фальшивая красота. Бриллианты из кварца, клубника из формалина, икра из нефти, шиншилла из кролика...

– Кролик из шляпы...

– Только балет нельзя подделать. Художник не может лгать.

– Все лгут.

– Ты не слышишь меня! Как лебедей кормят хлебом, так разламываешь, крошишь свою душу – вот здесь, у кромки сцены, как у кромки воды... Беспощадный балет. Каждый раз как жертвоприношение. Жрец в колпаке из перьев, с кривым обсидиановым ножом. Склонился над тобой, чтобы вырезать сердце...

– Мне страшно. Отчего-то сегодня мне стало страшно.

– Послать телеграмму: «Серж, мне очень плохо. Приезжай скорее».

– Забыть ссоры. Простить обиды. Всё вернуть.

– Приедет, ни о чем не расспрашивая. Поезд. Венеция.

– Каждое утро, в любую погоду, осматривать город, вдоль Большого канала, церкви, Санта Мария дель Салюте, музей Академии.

– Долго стоять перед каждой картиной. Беллини, Боттичелли, Рафаэль...

– Их скоро всех сожгут в кострах, в солдатских печках.

– Идти вперед, вновь возвращаться. Произнести два-три слова в течение нескольких часов. Только на улице, где резкий ветер и косой дождь...

– Застегните пальто, Ваца, вы так можете простудиться.

– И быстрый взгляд – полный нежности, робкий, просительный, словно чужой на бульварном самоуверенном лице.

– А после будет жаловаться.

– Вы представить не можете, каким победителем ощущает себя Вацлав. Теперь он уже никогда не будет слушаться меня...

«Ты спрашиваешь, люблю ли я Венецию и почему мы сюда приехали? О последнем скажу: не почему. Просто приехали, ибо нервам здесь уж слишком хорошо и покойно, а жизнь

слишком мало похожа на жизнь вообще, да в Венеции, впрочем, и нельзя „жить“⁴ – в ней можно лишь „быть“⁴... ибо никогда не мог понять, к чему здесь магазины, биржи, солдаты! Всё это не всерьез здесь... Я чувствую, что сподоблюсь хоть в этом поступить как Вагнер и приеду умирать в Венецию. Какой это холодный и страшный дворец, это не капризная готика, но точно сколоченный ренессансный гроб, достаточно величественный для того чтобы похоронить в себе великую душу...»

Это письмо Дягилев написал в 1902 году, за двадцать семь лет до своей смерти. Напророчил себе Венецию, как напророчил Иосиф, последний из великих русских поэтов. Никто не придет следом, нет Венеции, нет Парижа, нет мира – только снег, руины, варвары, басурмане...

Всё делал с неведением ребенка.

Даже во время покоя казалось, что Нижинский незаметно танцует.

* * *

Сегодня ясный, морозный день, как будто Рождество.

Почему бы нам не устроить в мае рождественский ужин? Я надену свое любимое платье от Пуаре, цепочку из мелких бриллиантов – подарок близкого человека, вещь, которую я не могу продать... Подкрашу лицо. Ольга зажжет свечи, заварит остатки кофе. Я выйду в гостиную, будто на приеме, устроенном в мою честь.

Если мне суждено умереть от этого нескончаемого холода, я хочу умереть в своем лучшем платье, с улыбкой на устах.

Возможно, мне предстоит тысячелетия лежать в саркофаге пустой холодной комнаты, пока скованная льдами Земля будет лететь в ледяном пространстве космоса к своей неизвестной цели. Рано или поздно этот полет окончится ослепительной вспышкой, гигантским взрывом, в котором навеки уничтожится всё, созданное нами...

Путь нечестивых погибнет.

Мне легко думать об этом. Мы, русские, осознаем историю мира как последовательность повторяющихся катастроф. Нас не удивляют плохие новости. Мы не ожидаем ничего другого.

Картина гибели и разрушения для нас – вполне привычный пейзаж. Мы – пассажиры «Титаника», трюмы которого всегда заполнены водой. Мы вечно живем в ожидании дня, когда наш огромный плавучий дом распадется на куски. Мы будем жить, цепляясь за обломки. Мы умрем.

Мы принимаем гибель мира со смирением, как естественный ход вещей. Видимо, в этом и состоит русская национальная идея.

Музыканты забренчали,
Люди в зале замолчали.
Посмотри на Арлекина —
Кольку!
Вот он с Ниной-Коломбиной
Пляшет польку.
«Динь-динь-дили-дон»,
Вот кот Спиридон.
Что за шум вдалеке?
Глянь-ка:

На Коньке— Горбунке
Едет Ванька!

Распроклятого буржуя
В три минуты уложу я.
Девчонка комсомолка
Не боится волка.
Из ковра и двух зонтов
Для спектакля змей готов.
У Петрушки
Палка,
Мне Марфушку
Жалко.
Спящая красавица
Спит не просыпается.
Вот пред вами вся орава.
Браво! браво! браво! браво!

(Даниил Хармс, 1928)

* * *

Наш загадочный покровитель объявился снова. Прислал двоих хмурых, раскосых великанов, которым Ольга не хотела открывать. Я открыла. Они сразу прошли в кухню – мешок картошки, мешок угля, мешок поменьше, внутри – яблоки, сахар, крупа, консервы. Отдельно, завернутые в бумагу – апельсины. Роскошь!

Ольга варит куриный суп.

Ольга знает всё о балете. Но понимает только практическую сторону. Так уж она устроена. Она земной человек, она думает, а не чувствует.

Я не хочу, чтобы меня думали. Я не говорю ей, так как не хочу ее расстраивать. Я ее люблю.

Три часа с перерывами занималась у станка. Мой естественный темп *prestissimo* или *allegro moderato*.

Сейчас я в прекрасной форме. Если он попросит, я соглашусь выступить перед ними. Это мой долг. В конце концов, они тоже люди. По крайней мере, не лишены человечности. Их сердца тоже из плоти и крови, как наши. Мы не должны их бояться. Мы должны учиться жить заново.

* * *

Разрушение искусства влечет за собой катастрофу мира. Я чувствую эту взаимосвязь.

Упадок, декаданс, *fin de siècle*. И рядом – космизм, футуризм, будетлянство. Мечта о великом общем будущем человечества. Из этих спор прорастает разрушительная война, революция, катастрофа.

В сентябре семнадцатого года Нижинский последний раз вышел на сцену. Он танцевал «Видение розы». Он знал, что время закончилось – мир, в котором Вацлав Нижинский был богом, обрушился навсегда.

Величайший в мире танцовщик умер в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Источник радости в его душе иссяк, от огня остались только угли.

В его телесной оболочке еще тридцать лет сохранялась видимость жизни. Жена перевозит его из одной клиники в другую, обращается к лучшим врачам. Паломничество в Лурд, в другие монастыри. Поклонение чудотворным мощам, спиритические сеансы...

Бедняжка, она так хочет снова увидеть его парящим над сценой!

Вацлав почти не говорит, не узнает друзей, равнодушен к миру. Жутко смотреть в его глаза. Они словно обращены в пропасть.

Его лечили уколами морфия, он бредил, терял чувство реальности.

Через десять лет Дягилев умирает в Венеции. Стоит невыносимая жара, Сергей Павлович дрожит от озноба. Его обряжают в смокинг, чтобы он согрелся под одеялом. Он повторяет: «Вы такие молодые в белых платьях!»

Мися Серт вышла, чтобы купить ему теплый свитер. Но надеть не удалось – он не смог поднять руки.

Дягилев говорит: «Я так любил „Тристана“. Обещай всегда носить белое, ты мне всегда нравилась в белом».

Он сгорает заживо. Диабет. Гнойные фурункулы на животе. Заражение крови. Температура поднимается всё выше. Начинается агония.

Вызывают священника, Лифарь торопит – скорее, святой отец, нужно провести обряд скорее. Вдруг Сергей Павлович очнется, он может разгневаться...

Я тоже сходила с ума несколько раз... И каждый раз я думала, что умерла. Наверное, когда я умру, мне будет казаться, что я просто сошла с ума.

Ver sacrum, весенняя жертва. Древний языческий ритуал. Во время бедствий давали обет принести в жертву весь домашний скот, который родится предстоящей весной. Праздник сопровождался пиром, возлиянием вина, плясками. Отголосок первобытного обычая жертвовать богам весенних детей.

«Весна священная» – я знаю, этой жертвой Нижинский хотел отсрочить катастрофу.

* * *

Мой зловещий любовник, Восточный принц, незнакомец в маске Баутты, приходил вчера ночью. Боже, дай мне сил не поддаться его бесовскому обольщению!

Я не просила, но он рассказал.

Никто не знает, отчего случилась катастрофа. Возможно, где-то на Ближнем Востоке, во время войны, был совершен обмен ядерными ударами. Возможно, земля столкнулась с астероидом. Или же мощное магнитное излучение из космоса... Известно лишь то, что ось земли сместилась и планета стала медленно удаляться от солнца. Наступила вечная зима.

Снег идет и больше не тает. Растения погибли, люди и животные умирают без пищи. Топливо, необходимое, чтобы согреться, добывается с большим трудом. Повсюду – паника, хаос и гибель.

Но самое удивительное произошло три месяца назад. Открылись люки в Антарктиде. Оказалось, что под глыбами льда уже несколько тысячелетий существует город, построенный потомками атлантов.

Они гораздо лучше нас приспособлены к жизни в бесконечном холоде. Они питаются особой энергией, которая в сотни раз мощней электричества. Их цивилизация отвергла путь примитивного технического прогресса, они развивали магические знания пифагорейцев. Телепатические способности, ясновидение и путешествия во времени в мире атлантов так же привычны, как в нашем мире телефон.

Их способность управлять природными явлениями дает человечеству надежду на выживание.

Проблема только в одном. Они так мудры, что давно не испытывают ни страха, ни боли, ни счастья. Никто из них не умеет улыбаться. Они не могут подарить миру радость. И значит, они ничего не смогут изменить.

* * *

Я смотрела на стену и видела бумажные обои. Я смотрела на лампу и видела стекло. Я смотрела в пространство и видела пустоту. Я плакала. Мне было грустно. Я не люблю людей со стеклянными сердцами.

Я была в горячке. Я знала, что больна. Он пришел в белой маске и в черном плаще. Он принес вино и апельсины. Он сел ко мне на постель. Я боялась его. Я боялась жизни. Мне было двадцать лет. Я не знала, что мне делать. Я выпила вино. Я плакала и плакала. Я не хотела соглашаться.

Он сидел на моей постели и требовал. Он внушал страх. Я рыдала, я предчувствовала гибель всего мира. Я не могла бежать, ибо вокруг меня была смерть.

Я была одна. У меня был жар. Я не понимала, что со мной. Я потеряла сознание. Я боялась его. Я согласилась.

* * *

Две недели лежала в горячке. Думала, что умру. Не знаю, что произошло за это время. Ольга не хочет рассказывать.

Снег не тает. В нашей квартире тепло. У кровати стоят цветы. В это трудно поверить, но предо мной живое доказательство – где-то выращивают цветы. Их аромат опьяняет.

Я чувствую слабость, как будто заново учусь говорить. Ольга кормит меня бульоном.

Ольга сказала, что к нам в дом подвели электричество, а в гостиной установили музыкальное оборудование. Я буду репетировать «Весну священную».

Нижинский умер в Лондоне в 1950 году. В 1953-м Серж Лифарь, главный балетмейстер, хореограф и первый танцовщик Парижской оперы, перевез останки из Англии в Париж, чтобы похоронить на кладбище Са-кре-Кёр. Сердце Шопена – сердце Нижинского – солнце Нижинского.

Когда я писала эти строки, принесли письмо. Курьер ушел, не дожидаясь ответа. Несколько строк, написанных от руки четким, как строевой шаг, почерком:

«Ver sacrum. Звездочеты назначили день праздника. „Весна священная“ в Большом театре. Вы будете танцевать Избранницу».

* * *

Ольга говорит, что мы еще можем уехать. Она слышала, будет поезд на юг, ей предлагали достать билет. Она хочет продать оставшиеся драгоценности и бежать, бежать...

Но разве мы сможем убежать от себя?

Нижинский начал обрастать легендами при жизни. Журналисты искали на сцене секретные приспособления или пружины, позволявшие ему совершать свои фантастические прыжки. Распарывали его балетные туфли.

Судачили, что он практикует оккультизм. Что магическому воздействию на публику и искусству левитации он научился у индийских брахманов. Ходить по воздуху может лишь тот, кто разбудил в себе чакру Ана-хата – вместилище праны, расположенную в области сердца... Подозревали, что болезнь стала результатом злоупотребления мистическими практиками.

Случайный поклонник вспоминает: «Я сказал ему, какой радостью было для меня аплодировать ему в Монте-Карло. Он любезно улыбнулся и поблагодарил. Тогда я спросил его,

где сейчас находится труппа Русского балета. Он мне ответил: „Русский балет? Первый раз слышу“».

Николай Рерих пишет в письме: «Нижинский то ли жив, то ли умер, то болен, то здоров...»

Нет, я никуда не поеду.

Я должна подготовиться. Я буду репетировать по восемь часов.

Я буду танцевать Избранницу.

В день летнего равноденствия назначен праздник. Казнь бывшего правительства и гала-концерт в честь новых богов. На стадион перевозят военные радары.

Радость, я верну людям радость! Мой танец преобразуется в тысячекратно усиленный сигнал. Моя душа, растворенная в танце, помчится к Солнцу. Сто пятьдесят миллионов километров – это близко, всего один миг.

Мой танец разбудит спящее солнце, изменит орбиты планет. Раздвинув тучи, теплые лучи коснутся тверди. И снег растает, и вернутся птицы. И навсегда, бесповоротно, вечно придет на Землю дружная весна...

* * *

Про Куклу.

Мы жили в Ленинграде, началась война. Папа увез нас из блокады в Свердловск, к дедушке. Дед был враг народа, и мы ютились семь человек в одной комнате. Бедность, даже нищета, ничего не было, только самое необходимое для жизни. А ребенку для жизни необходим весь мир.

И вот мама сшила мне куклу из тряпок.

Кукла сначала была без лица, без глаз, и я ее выдумывала. Как выдумывают незнакомого человека – его судьбу, прошлое и будущее... Как выдумывает персонажа артист.

Потом ей нарисовали глаза, пришили волосы от бабушкиного шиньона. И я понесла Куклу во двор. Дети ее обозвали «жидовка», вырвали у меня из рук, стали перебрасывать. И я, боясь потерять компанию – мне было четыре с половиной года, – кидала ее вместе с другими детьми, смеялась над ней.

Им надоело, они ушли, а я подняла свою Куклу. Она была грязная, вся измятая, чужая.

Я спряталась на чердаке. Боялась пойти домой – знала, что меня отругают за испорченную Куклу. Но кроме страха было другое, мучительное чувство. Я страдала от того, что предала дорогое мне существо.

Я не могла поверить – без раздумий, без необходимости, ради чужих насмешек я отреклась от Куклы, с которой я дружила, вместе ела и спала. В этой Кукле был сосредоточен целый мир моих переживаний.

* * *

Снился сон. Прощальный дивертисмент, танцую посреди спальни, не вижу зрителей. Спрашиваю: «Ольга, кто пришел?» Она мне отвечает: «Все».

В самом деле, пришли они все, бесплотные тени. Обступили мою постель. Горячо спорят, толкуют что-то... То вместе, то попеременно.

«Нужно принимать лекарство. Нужно есть. Нужно спать».

Милые тени! Сегодня за мной придут.

Осталось мало времени. Я знаю, что больше не вернусь в этот дом.

Я не буду прятать мои тетради, оставлю их на столе. Никто не сможет прочесть эти знаки. Живым они непонятны, а призраки знают больше, чем мы.

Прошу, чтобы он позаботился об Ольге, когда меня не станет.

– О какой Ольге вы всё время говорите?

– Что?

– Ольга – ведь это ваше имя!

– Нет, вы ошибаетесь! Мое имя – Вацлав Нижинский.

Я плачу.

Они идут, я слышу шаги.

В дверь стучат.

Мне страшно.

Нет, подождите.

Нижинский, Дягилев, Шанель... Я иду!..

Я должна танцевать! Я буду танцевать «Весну священную»!

Моя душа разбудит Солнце.

Это нужно, чтобы на Земле растаял снег.

Атмосферный фронт

Луч света проник сквозь шторы, коснулся лица, Шуберт открыл глаза, осторожно огляделся. Прислушался к равномерному клочкотанию внутри человеческой туши, оттеснившей его к самому краю постели. Затем осторожно выбрался из простыней и стал одеваться, стараясь производить как можно меньше шума. Присел на корточки, чтобы достать из-под кровати свернувшийся клубком носок.

– Сегодня пятница? – Голос прозвучал так неожиданно, что Шуберт замер, словно застигнутый с поличным.

– Воскресенье. – Шуберт мысленно развернул страницы школьного дневника, по которому до сих пор отсчитывал дни недели.

– Странно... А куда пропала суббота?

Ощупывая тумбочку в поисках часов, толстяк прокашлялся, сел на кровати. Взглянул на циферблат, неспешно застегнул браслет на запястье. И улыбнулся растерянному, словно извинялся за что-то.

Этих неловких минут пробуждения рядом с посторонним человеком, стыда неопрятной наготы, разочарования в складке губ Шуберт старался избегать. Он брал деньги вперед и завел привычку уходить сразу после или под утро, бесшумно одеваясь в темноте. Обычно он плотно прикрывал за собой дверь, изредка оставлял записку с номером телефона. И никогда не брал чужого, зная по рассказам приятелей, какими неприятностями это может закончиться.

Но на этот раз он проспал, потому что две ночи подряд провел у стойки бара в прокуренном зале с колоннами и остатками лепнины на потолке – клуб занимал помещение бывшего дворца культуры. Шуберт танцевал, выпивал. Затем бродил вокруг опустевшего танцпола среди таких же, как он, одиноких неудачников, дожидаясь времени открытия метро, чтобы ехать домой.

Домом он теперь называл тесную квартирку в спальном районе, которую они снимали на двоих с Павлиной Карловной – так звали в клубе Пашку Уткина. Днем они вместе работали в магазине фототоваров.

Уткин, который уже, кажется, забыл, что когда-то приехал в большой город на поиски счастья, а не проблем, втянул Шуберта в круг своих интересов. Уже второй год они проводили выходные в заведениях, где иногда удавалось заработать немного денег или просто повеселиться в чужой компании.

Шуберт отлично понимал, по какой причине он, в отличие от Павлины, пользуется неизменным спросом. Благодаря маленькому росту и хрупкому сложению его можно было принять за подростка шестнадцати, а то и четырнадцати лет. Зная, что нравится любителям, он отращивал длинную челку, носил футболки со смешными надписями и держался ближе к темным углам, словно опасаясь быть замеченным. Но его замечали те, кто искал, и почти всегда сразу предлагали деньги, чтобы не тратить времени и не привлекать лишнего внимания.

С клиентами он больше молчал, изображая застенчивость. Впрочем, в глубине души он и был застенчивым пареньком, которого жизнь влекла по течению мимо опасных водоворотов и рифов, по какой-то своей прихоти пока оберегая от больших неприятностей. Конечно, маленьких хватало – но у кого их не бывает?

– Я, наверное, не дал тебе выспаться? – спросил толстяк, приглаживая рыжеватые волосы, растрепавшиеся вокруг уже заметной лысины. – Стоит кашалоту принять горизонтальное положение, он наполняет мир отвратительными звуками... Впрочем, не более отвратительными, чем те, за которые ему обычно платят.

На всякий случай Шуберт отрицательно мотнул головой, но толстяк продолжал сокрушаться.

– Позор и хаос. Нужно написать это на моем лбу, как рыцарский девиз. Я могу опозилить любую святыню. Это мое главное неотъемлемое свойство, помимо жировой прослойки...

Шуберт деликатно промолчал.

Толстяк он встретил вчера на улице, выходя из клуба. Клиент сразу подозвал такси и назвал адрес недорогой привокзальной гостиницы. Шуберт толком разглядел его, только когда тот расплачивался за номер. На вид ему было лет сорок пять, и даже просторный плащ не скрывал его безобразной полноты. Приходило на ум, что он не случайно подъехал к самому закрытию – видимо, рассчитывал выбрать добычу среди тех, кто уже не надеялся хоть что-то заработать этой ночью.

Крякнув, толстяк сел на постели, опустив босые ноги на голый пол, и дешевая гостиничная кровать закричала под весом его тела, сливочно-розового и почти безволосого. Шуберт со странным чувством припомнил, как ловко и без видимых усилий тот разделался с ним ночью, начав в тесной ванной и закончив на этой же кровати, которая вроде бы и не скрипела тогда.

Натягивая брюки, толстяк сказал:

– Сразу извини, если что-то... Если обидел тебя словом или делом. Или телом. Бог свидетель, я уважаю твой выбор, либо же его отсутствие. Тем паче, что наша встреча спасла меня от глупого шага, к которому я вплотную приблизился вчера. Не поверишь, я даже пытался перетащить свою задницу через балкон одного многоэтажного дома...

Вчера толстяк пытался объяснять Шуберту теорию каких-то струн, смеялся невпопад и даже декламировал стихи, но от него пахло спиртным, и это служило достаточным оправданием. Теперь же его слова заставили насторожиться. Не то чтобы Шуберт редко слышал подобные разговоры или боялся их – тема суицида была одной из самых популярных в их среде. Но веселый, даже залихватский тон, которым толстяк сообщил о своем намерении прыгнуть с балкона, вызывал опасения.

– Впрочем, раз уж я опоздал умереть молодым, придется смириться с дальнейшим бездарным существованием, – толстяк сделал паузу и подмигнул Шуберту. – Кроме прочего, это определенно был лучший секс в моей жизни. Небо подсказывает, ты – именно тот, кто мне нужен сегодня. Надеюсь, ты никуда не торопишься или сможешь отменить свои планы.

– А что нужно делать? – спросил осторожный Шуберт, решив всё же, что рассуждения толстяка о самоубийстве не следует принимать всерьез.

– Для начала мы позавтракаем, ни в чем себе не отказывая. Затем прогуляемся по городу... Вероятно, подберем тебе новую одежду – будет вечеринка, и там не следует появляться в столь легкомысленном виде.

Предложение звучало куда заманчивей, чем перспектива провести еще один воскресный день с Павлиной, да и подарки Шуберт получал не часто и готов был, если потребуется, отблагодарить толстяка привычным способом.

– Тот еще террариум, предупреждаю сразу, но отменить не получится. Зато тебе представится возможность меня морально поддержать, – вслепую завязывая на шее галстук, толстяк вздохнул. – Кроме шуток, мне очень хочется, чтоб ты остался со мной, хотя бы до вечера. Само собой, я заплачу и за это.

Он сунул руку в карман и достал растрепанное портмоне.

– Достаточно?

– Спасибо, – ответил Шуберт, опустив глаза.

– Точно? Не обидел тебя?

Шуберт снова мотнул головой, сунул деньги в карман. Сел на стул и наконец надел второй носок.

– Да, на всякий случай... Меня зовут Валентин. Валентин Сергеевич.

Ему сразу понравилось в небольшом ресторанчике с видом на площадь, куда привез его толстяк. Посетители, обстановка, официанты в черных рубашках и белых галстуках-бабочках.

Атмосфера здесь была, что называется, артистической. Он подумал даже, что в таком месте, наверное, можно встретить звезд экрана и телеведущих, и хорошо было бы привести сюда кое-кого из приятелей. Но, заглянув в меню, решил отложить этот план до лучших времен.

Толстяк, очевидно, был постоянным клиентом заведения, его знали в лицо и по имени. Ночью в такси тот представился, но Шуберт не расслышал слов из-за громкой музыки, а переспрашивать постеснялся. Наутро было совсем уж неловко знакомиться заново. Теперь же он узнал, что толстяка зовут Валентин Сергеевич, что он любит свежие булочки и мясо средней готовности, пьет сладкий чай со сливками и, судя по всему, оставляет официантам хорошие чаевые.

Почему-то постыдившись «разводить» своего спутника на угощение, для себя Шуберт заказал чай и самый дешевый куриный суп. Его слегка подташнивало от тепловатой воды, которой он хлебнул из-под крана в гостиничной ванной, когда приводил себя в порядок.

– Знаешь, я без ума от твоей манеры молчать, – заявил толстяк, поедая огромную пиццу. – Такое редкостное качество. С тобой хочется молчать обо всем на свете... Вот только имя у тебя неудобное. Федор – ты ведь Федор? Звучит как-то старомодно, официально. А Федя – слишком просто, совсем не подходит к амплу Пьеро. Как тебя называют друзья?

Шуберт покраснел; не из-за комплимента, а потому что их могли слышать. Так и вышло. Проходивший мимо стройный, очень привлекательный официант исподтишка окинул их насмешливым взглядом.

– Шуберт, – пробормотал Шуберт. – Это моя фамилия. Дедушка был немец.

– Не может быть! – воскликнул толстяк и громко расхохотался. – Ты не шутишь?

Немного обиженный, Шуберт пожал плечами.

– А что здесь смешного?

– Это же просто замечательно, Теодор, – толстяк схватил его за плечо и потряс. – Всё подтверждает, что боги играют нами, как шахматными фигурами... Я же говорил, еще утром, что должен непременно провести этот день с тобой! Тебе не приходило в голову, что мы – всего лишь ячейки в гигантском запоминающем устройстве? Иногда начинаешь верить в это.

Мужчина лет тридцати, в очках, с модной бородкой, вошел в зал ресторана и быстро направился к их столу.

– Вал, у меня просто нет слов! – воскликнул он, приближаясь. – Ты понимаешь, что я всю ночь переписывал номера больниц и моргов? Это свинство, наконец!

– Может, еще пригодятся, – пригрозил толстяк, щедро сдабривая пиццу оливковым маслом.

– Что у тебя с телефоном? Хорошо, мне позвонили, что ты здесь. Ты можешь объяснить?... Анна на нервах, я схожу с ума, тебя сто людей ищет по всему городу...

– Телефон я выключил. И выбросил. Что еще тебя интересует?

Мужчина сел, резко отодвинув стул. Лицо его сделалось злым.

– Значит, всё продолжается? Я думал, ты взрослый человек.

– Именно поэтому, – ответил Валентин.

– Ты издеваешься? Думаешь, я тебя буду уговаривать? Да я первый всё брошу! Вот прямо сейчас, повернусь и уйду, и ты меня больше не увидишь!

Шуберт, невольный свидетель чужой ссоры, застыл на стуле, вжав голову в плечи. Толстяк невозмутимо жевал.

– Нет, ты, пожалуйста, меня послушай, – незнакомец внезапным движением выхватил вилку из его руки. – Ты устал, выдохся, я понимаю... Я сам исчерпан, как бойцовая собака. Но мы в одной упряжке! Мы не можем ничего отменить. Ты знаешь, какие будут последствия!

Валентин Сергеевич задумчиво рассматривал недоеденный кусок пиццы. Очкарик спрятал вилку в карман.

– Ну хорошо, окей! Попробуем перенести Варшаву, пока не вложились в рекламу... Прокатим фестиваль. Дам тебе две недели отпуска! Две недели, куда хочешь. Бали, Мальдивы, Доминикана. Но только не сейчас. Я по-человечески прошу тебя, Вал.

Движением пальца подозвав официанта, Валентин попросил другой прибор и снова начал есть. В эту минуту незнакомец в первый раз посмотрел на Шуберта и вдруг сделал оскорбленное лицо.

– Это кто?

– Прости, я не познакомил. Это Шуберт. Это Матвей, мой администратор.

– Ты можешь объяснить, что вообще происходит?

– Это не имеет ровным счетом никакого значения, – пробормотал толстяк с набитым ртом.

– Конечно, ничего не имеет значения, в этом весь ты, – вскинулся Матвей. – Тонны эгоизма, помноженные на вздорный характер! Ты же ничему не учишься. Тебе плевать на всех! На Анну, на меня... Если бы твое имя не стоило дороже, чем вся эта чертова звукозаписывающая компания...

– Знаешь, мы оба слишком долго находились во власти заблуждения, что мир рухнет, если я перестану садиться за инструмент, а ты – переворачивать страницы, – проговорил толстяк. – Я просто предлагаю взглянуть на вещи трезво. Если мы прекратим этим заниматься, не произойдет ровным счетом ничего. Сумерки. Снег. Тишина.

Шуберт давно перестал понимать смысл разговора и поймал себя на том, что исподтишка разглядывает стройного официанта. Такие юноши казались недостижимым идеалом, и он привычно погрузился в печаль, вспомнив свой маленький рост, нечистую кожу и бедственное материальное положение. Он часто размышлял о том, как бы всё сложилось, прибавь ему судьба лишних десять-пятнадцать сантиметров, которые ровно ничего ей не стоили, раз она так щедро одаряла ими других.

– Превосходно! – закричал вдруг Матвей. – Великолепно! Зачеркни всё, растопчи... Я умываю руки! Я признаю – ты прав. Да, ты не гений! Ты не совершил переворота в искусстве. Ты всего лишь выдающийся исполнитель, один из многих – сколько вас сегодня в мире? Семь, десять?... Божественный дар, но не гений. Браво! Повод ненавидеть мироздание. Как это смело – отправить подарок в мусорную корзину! Талант ему, видите ли, недостаточно хорош. Сумерки... Ха! А ты подумал, каково это слышать нам, простым смертным, беспомощным подражателям, пылинкам в лучах чужой славы? Нам, статистам на жалких ролях? Жилеткам, нянькам, переворачивателям страниц? Сиделкам, подтирающим звездную задницу?

– Ну уж, задницу ты мне никогда не подтирал. Впрочем, если хочешь...

Матвей откинулся на стуле и закрыл глаза.

– Ты находишь это смешным?

– И не думал шутить.

– Что ж, превосходно... С меня хватит! Сегодня же разошлю уведомления, что больше не работаю с тобой. Это конец.

Очкарик выложил вилку из кармана, поднялся и пошел к выходу. По походке было видно, как он подавлен.

– Федор Шуберт, – задумчиво проговорил толстяк. – Так звали инженера-картографа, который составил архитектурный план Петербурга.

– Еще композитор есть, – сказал Шуберт.

– Композитор не обсуждается.

Валентин сам признался, что не водит машину и привык передвигаться на такси.

– Последние лет десять со мной обращаются как с неопасным шизофреником. Ведут, сажают в машину или в самолет, куда-нибудь везут, – добавил он, усмехаясь. – Считается, что

я неприспособлен к практической жизни. Не могу позаботиться о себе. Как в депрессивной стадии психоза. Хорошо, пока еще позволяют распоряжаться деньгами...

«Мне бы так», – позавидовал Шуберт, который привык выслушивать откровения клиентов с недоверием. Не хотелось признаваться, что толстяк вызывает в нем невольную симпатию. Заложив руку в карман брюк, раскинув фалды костюма, тот двигался быстро и плавно, как фигура на носу старинного корабля, и теперь его крупное тело совсем не казалось безобразным. Лицо же было почти привлекательным, особенно глаза, широко расставленные, золотисто-зеленые, как у стрекозы. Шуберт не мог долго выдерживать их взгляд и старался смотреть на руки – сухие, сильные, с длинными белыми пальцами.

Таксист высадил их у дома, первый этаж которого занимали магазин одежды и модное ателье. В витрине были вставлены платья на портновских манекенах. На стекле Шуберт прочел название, написанное русскими и латинскими буквами – женское имя, модный салон.

Хозяйка, полноватая улыбчивая дама с густыми бровями, встретила их на пороге, расцеловалась с Валентином. Долговязый, тощий, как две палочки для суши, продавец бросил возиться с кассовым аппаратом и тоже подошел поздороваться.

– Будете чай или кофе? – спросила хозяйка, приглашая в мастерскую. Подсобное помещение за магазином было тесно заставлено вешалками и стеллажами с тканью, почти половину комнаты занимал закроечный стол. Тут же, у окна, две девушки строчили на швейных машинках.

– Теодор, мой студент, – легко соврал толстяк, с шумным выдохом усаживаясь в кресло. – Представь, что он Золушка, а ты – добрая фея. Нужно подобрать ему приличествующий костюмчик для бала. Не обязательно из последней коллекции, но чтоб не стыдно было показаться.

Хозяйка оглядела Шуберта, позвала из зала продавца и вместе с ним отправилась «на склад» – в

кладовку за примерочной. Девушки бросили свое шитье и обе взялись готовить кофе, весело поглядывая на Валентина.

– Чертовски приятно быть знаменитым, – заявил тот, когда перед ним поставили столик с чашками и печеньем.

– Для себя что-нибудь посмотришь? – крикнула хозяйка из кладовой.

– А что тут на меня, кроме подтяжек? Я еще прибавил за последние полгода... Матвей всё время повторяет, что у большого художника должен быть масштаб, но это звучит довольно двусмысленно. Хотя все мы ограничены размером своего заднего прохода... И разница между талантом и посредственностью сравнима с пределами растяжения ануса.

– А как тебе это? Если для Анны? – Хозяйка вынесла из кладовки два платья на деревянных плечиках.

– У тебя всё замечательное. Но ей никогда не нравится то, что покупаю я. Два несостоявшихся гения в одной семье – что может быть смешнее?

Шуберт пил кофе, смущенно поглядывая по сторонам. Он продолжал чувствовать странность происходящего, но постепенно осваивался в параллельном мире, которому принадлежал толстяк. Этот мир был продолжением привычной реальности, но здесь говорили на чужом языке и, не замечая настоящих проблем, выдумывали несуществующие.

– Думаю, это подойдет, – хозяйка показала Валентину костюм. – С прошлогоднего показа. Укоротим снизу. И рукава.

– Пуговицы прелесть, – заявил тощий продавец. – Очень изысканно.

– Ну-ка, надень, – приказал толстяк Шуберту.

Тот вошел в примерочную, плотно задернул за собой занавеску.

Пара была пошита из дорогого серого сукна, подкладка с отливом приятно скользила по коже – Шуберт потерся о ткань щекой. Надев костюм, он не узнал себя в зеркале. Правда,

брюки и рукава пришлось подвернуть, но всё равно он уже видел, как его преобразит новая одежда.

Он вышел из примерочной. Девушки улыбнулись ободряюще.

– По-моему, нормально.

– Гениально, – кивнул Валентин.

Хозяйка взяла сантиметр и плоский сухой обмылок, наметила длину штанин и рукавов. Подозвала одну из девушек.

– Сделаешь, Наташа?

Пока Шуберт переодевался, в мастерской завязался сдержанный спор.

– Не знаю, зачем он согласился войти в предвыборный штаб, – говорила хозяйка. – Странный поступок, согласись.

– Что ему еще остается?

– Нет, ты не прав... Он талантливый, знающий человек, много делает для своих учеников. Просто не смог добиться признания. Есть счастливчики, а есть неудачники. Хотя, помнишь, когда он стал лауреатом...

– Умоляю тебя. У нас каждый осел, козел и косолапый мишка – лауреаты того и сего, – хмыкнул Валентин. – А в штаб пошел потому, что должность пообещали в министерстве.

– Можешь спорить, но я всё равно считаю его очень порядочным человеком. Просто не хватило везенья... Потом, ты бы так не говорил, если бы знал, – хозяйка, следившая за работой помощницы, отвлеклась, повернулась к толстяку. – Ладно, это уже не новость, всё равно. У него диагноз, рак... Сейчас обследуется, потом поедет в Израиль.

– Повезло! На его месте я бы использовал шанс написать себе судьбу. Посмертное турне, звучит. Все накинутся на эту новость. Придут посмотреть, как кровь хлынет горлом прямо посреди концерта и будет стекать с клавиатуры на пол. Поклонница красиво уронит белую розу. Нет, целую охапку белых хризантем! Они же обожают пошлость, включая самого покойника.

– Ужасно! Неужели ты бы этого хотел? – Хозяйка нахмурила свои толстые брови.

– Само собой. Впрочем, надеюсь, у него рак прямой кишки... Ты подала мне мысль. Вот что мне нужно – распустить слух, что я неизлечимо болен. Сразу взойду на пьедестал. Публика это обожает.

– Ты и так на пьедестале.

– Нет, нет... Неизлечимая болезнь – это всегда возбуждает. Завораживает. Гораздо эффективнее совращения детей.

В комнате повисла пауза, и даже Шуберт, мало что понимавший из разговора, почувствовал, что Валентин шагнул на запретную линию.

– А вы, Теодор? – хозяйка ласково посмотрела на Шуберта. – Хотела спросить, сложно было поступать в консерваторию? Моя племянница собирается через год.

Тот мгновенно покраснел, не зная, что должен отвечать. Валентин пришел на выручку.

– Он не консерваторский, это мои частные уроки. Одаренный парень. Делает чудеса.

Хозяйка с застывшей улыбкой переменила тему разговора.

– Как Анна? Передавай ей привет.

– Непременно передам. Кстати, у нее сегодня день рождения.

– Что же ты не напомнил? Обязательно поздравлю!

Помощницы уже закончили работу и принесли в примерочную костюм, сорочку и галстук. Валентин достал портмоне.

– Великолепно, – сказал он, оглядывая нарядного Шуберта, словно произведение собственных рук. – Осталось завернуть в подарочную бумагу.

Хозяйка проводила их до двери, отмахнувшись от слов благодарности.

– Всегда рада помочь, дорогой.

– Теперь мы должны купить тебе хорошие туфли, – заявил Валентин, и при этих словах Шуберт покраснел. Даже в большом торговом центре он никогда не мог найти обувь по размеру. Кроссовки он покупал обычно в детском отделе и только глазел на настоящие мужские туфли в сияющих витринах. Ему всегда было стыдно посвящать посторонних в свои тайны, поэтому он недолюбливал продавцов из фирменных салонов обуви.

В магазине не было ни одного покупателя. Словно солдатские полки на присяге, вдоль стен выстроились шеренги туфель: черных, коричневых, желтых, цвета топлёных сливок и кофе с молоком. Сверкая в зеркалах, ботинки точно клялись служить хозяину не за страх, а за совесть, со всей деликатностью преданного союзника.

При виде этого великолепия Шуберт почувствовал обиду. Другие мужчины, даже толстые и немолодые, как его спутник, могли равнодушно пройти вдоль обувных рядов, взять в руки любую пару, прочесть изящную надпись, тисненную внутри ботинка или на поверхности подметки. Затем примерить обновку, чувствуя крепость поскрипывающей подошвы, облегающую плотность ладно выкроенного верха... Он же был вынужден довольствоваться подростковыми кроссовками – грубым ширпотребом неизвестного производства.

– Что не так? – Валентин заглянул в его лицо. – Тебе здесь не нравится?

– Нравится, – прошелестел Шуберт. – Только у меня... проблемы... с размером.

– Вот как? – проговорил толстяк. – А точнее?..

Шуберт нехотя назвал свой размер ноги. Его спутник достал бумажник и подошел к кассе, за которой стояла сухопарая, рано поседевшая продавщица.

– Вы ведь согласны, что общепринятая норма – самое скучное изобретение человеческого ума? Видите этого прекрасного юношу? Мы хотим купить ему туфли – хорошие мужские туфли точно по размеру, цена не имеет значения.

Продавщица хотела что-то возразить, но толстяк положил на прилавок купюру.

– Это вам за хлопоты. Получите еще столько же, когда принесете. Мы будем ждать внизу, в кафе. Что-то жарко, хочу выпить пива.

Шуберт был уверен, что продавщица и не подумает искать туфли для сумасшедшего толстяка и его малорослого приятеля, с легкой совестью присвоив деньги. Но Валентин, казалось, уже не думал об исходе этой авантюры. Он потягивал пиво и говорил:

– С детства вбил себе в голову, что у него слабое здоровье и артистическая натура. А он здоров как бык и артистичен, как камбала. Конечно, болезнь ему на руку... Все великие страдали каким-то изъяном, внешним или внутренним. Эпилепсия, чахотка, жидкий стул...

Он облизнул пивную пену с верхней губы.

– Кстати, я даже не спросил, чем занимаешься ты. Это, конечно, не суть важно. Но я всё же надеюсь, твоя ночная деятельность – это скорее хобби?..

– Я работаю в магазине фототоваров, – честно признался Шуберт.

– Der Wanderer! Ты и в самом деле похож на Золушку, Федор Шуберт, – заявил он, сверкнув глазами. – Жаль, из меня никудышный принц.

– А вы, – спросил Шуберт, осмелев, – вы музыкант?

– Когда-то был... А теперь стал голимый лабух. Ни ноты без банкноты.

– Вы об этом спорили с тем, бородатым?

– Видишь ли, два дня назад, или уже три, мы отмечали некий юбилей творческой деятельности... Обычно я не пью, но там выпил. И посмотрел вокруг свежим взглядом. Есть люди, которые слышат голоса. А я увидел странную картину, будто меня стукнули по затылку. Я вдруг понял, что я сам такой же кретин, как этот юбиляр... Самоуверенный, точно рождественский гусь. Хах! Понимаешь, сегодня любое ничтожество, любой консерваторский троечник убежден, что может извлечь музыку из инструмента посредством собственных пальцев-сарделек и вареных мозгов. Каждый воображает себя богом. Или, на худой конец, проводником божественного электричества. Каждый идиот убежден, что высший разум играет его руками... И

я ничем не лучше этих. Сажусь за инструмент, чтобы проповедовать некие истины, якобы мною открытые, хотя не знаю о жизни ничего, абсолютно ничего! С детства по пять, семь, десять часов в день за инструментом – у меня не было времени даже посмотреть вокруг. Красивые города, прекрасные страны. Аэропорт, такси, концерт, банкет... Как приятно купаться в лучах славы, пока не понимаешь, что утонул в пошлости. И это оскорбление, которое я каждую минуту наношу, – нет, не Богу, что ему до нашей возни! Самому себе. Той части себя, которая только и является чем-то стоящим.

Шуберту польстило, что толстяк заговорил с ним, как с равным. Но сам он не привык рассуждать об отвлеченных предметах и быстро заскучал.

– Все попадают в одну ловушку – начинаешь воспринимать инструмент как продолжение своего тела. И наши попытки совокупления с мирозданием через музыку превращаются в публичный онанизм. Посмотри на их лица! Как они теребят свои флейты, скрипки, виолончели... не говоря про фортепьяно. Это же цирк уродов! А мои записи крупным планом? Тошнотворная порнография, мерзость... Я тебя утомил?

Шуберт почему-то вспомнил, как утром толстяк подмигнул ему, когда говорил про секс. Впрочем, секс-то был что надо, этого нельзя было отрицать. Ночью он чувствовал себя горщиной, на которую взгромоздили десятка два пуховиков, а сверху усадили толстозадую принцессу, но отчего-то это было совсем не тяжело, а даже приятно.

– Кто сказал, что музыкантов нужно расстреливать, как только им исполнится тридцать? – вздохнул Валентин, подпирая голову рукой. – Это мудро. Но еще не поздно... И я это сделаю. Я уже сказал им, что мне надоел весь этот балаган.

Шуберт не знал, как вести себя: утешать толстяка или поддакивать. Но тут продавщица принесла туфли. И это были как раз такие туфли, о которых он мечтал, изящные, красивые, крепкие. Их носки матово блеете-ли, как носы двух добродушных породистых собак. Они отлично уселись по ноге, словно говоря: «А вот и мы, хозяин, рады служить!» Одетый и обутый, разглядывая себя в ресторанном зеркале, Шуберт чувствовал смятение. Впервые в жизни ему нравилось то, что он видел. И в этом был парадокс – толстяк, в душе которого разладились все струны, настраивал гармонию чужой судьбы.

– Первое отделение концерта можно считать исполненным, – решил довольный Валентин. – Теперь осталось заехать в ювелирный и купить цветы. Добро пожаловать на бал!

«А потом, после этого бала, – хотел спросить Шуберт, – что мы будем делать?» Но он не владел искусством задавать нужные вопросы и снова промолчал.

Меньше чем через час, с запеленатым в целлофан букетом, с бархатной коробкой в кармане пиджака Валентина Сергеевича, они подъехали к старинному дому на набережной. Шуберту передалось волнение, охватившее его спутника. Тот вытирал платком лысеющую голову и ворочал шеей, словно ему стал тесен воротничок рубашки.

– Как я выгляжу, достаточно ужасно? Как человек, который два дня не брился и не менял белье? Впечатляющий случай хаоса?.. Отвратительный запах пота и секса? Хочу их немного расшевелить! Да, только не поддавайся на ее любезность, всё это маскировка. И не говори, что ты обожаешь ее с самого детства. Опасно для жизни!

Вошли в подъезд с камином и мраморной лестницей, какие Шуберт видел только в кино, и тут же сверху их окликнул мелодичный женский голос. Валентин схватил его за руку и взбежал по ступеням, тяжелый и стремительный, как корабль.

– Теодор, мой студиозус, – воскликнул он, приподнимая Шуберта вместе с цветами, словно куклу в подарок. – Анна, моя жена.

Женщина протянула руку, и Шуберт пожал ее, хотя от страха не различал почти ничего, кроме шуршания обертки букета и аромата жасминовых духов.

– Мы уже начали, – проговорила она очень спокойно, – не знали, ждать тебя или нет.

– Разве ты не обещала ждать меня всю жизнь? – нарочито удивился Валентин.

– Ты меня с кем-то путаешь, как обычно.

В прихожей, под светом хрустальной люстры, Шуберт узнал ее и почувствовал, как душа уходит в пятки. Она была ослепительно молода и еще красивее, чем на экране. Невозможно было поверить, что дошкольником он смотрел фильмы, в которых она уже играла несчастливых жен и самоотверженных любовниц.

– Это дуэль на десяти шагах, – заглянув в громадное зеркало в старинной раме, Валентин пригладил растрепавшиеся вокруг лысины волосы. – Как обычно, со смертельным исходом... Но я стреляю в воздух, учти.

– Это не повод топтаться на пороге, – улыбнулась Анна. – Проходи, раз уж явился. Я поставлю цветы.

Толстяк подтолкнул Шуберта, и тот поддался, упуская последнюю возможность улизнуть на лестницу, на улицу, в метро, прочь из чужого мира.

– Будь готов, – предупредил Валентин Сергеевич, – катарсис заявлен на афише.

Они миновали гостиную, уставленную букетами, и вошли в ярко освещенную столовую. Мужчины и женщины, в большинстве своем немолодые, стояли посреди комнаты с тарелками и рюмками в руках, сидели на диванах и в креслах. Шуберт застыл в испуге, когда все лица как по команде повернулись к нему.

Секундное молчание нарушил старичок в шейном платке, устремившийся навстречу.

– Ну, наконец-то! Валя, дорогой, что за глупости ты творишь? Разве можно? Был Матвей, сказал, что от тебя уходит... Мы не поверили, конечно.

– Коль славен наш Господь в Сионе! – пробасил, подходя и обнимая Валентина, высоchenный бородач.

Воспользовавшись суетой вокруг вновь прибывшего, Шуберт укрылся в тени напольных часов. Никогда раньше он не бывал в домах, где просторные комнаты с высокими потолками так напоминали музейные залы, где громоздкая мебель выглядела так изящно, а паркет сверкал лаком, совсем как озерная гладь. Оглядываясь вокруг, он чувствовал себя героем сказки – мальчиком, попавшим на бал к людоедам. По сказочным правилам долго оставаться незамеченным он не мог.

– Кто ты, прелестное создание? – обратилась к нему старуха в лиловом платье, приближаясь с чашкой чая в руках.

– Его привел Валентин, – поторопилась сообщить дама с неживым лицом и толстыми ногами, сидевшая на пуфике, сдвинув колени, как кукла-игельница.

– Да он совсем малыш, – чему-то словно обрадовалась другая старуха, жирная и приземистая, как присевший на здание лапы жук.

Валентин Сергеевич выглянул из-за спины бородача и крикнул:

– Теодор, мой студиозус! Кости его предков лежат в немецкой земле, усеянной могилами, как луг цветами.

– Ты забываешь, что Кира Ипатьевна знает всех твоих учеников, – перекрывая голоса, почти пропела мелодично Анна, входя в столовую с вазой в руках.

– И всех – со смертельным исходом! Нет, я шучу... Это засекреченный студент, частные уроки. Одаренный парень, подает надежды! Только ни о чем его не спрашивайте, в военной школе их учат молчать бельканто, чтоб не разболтали государственных тайн. Я тоже учусь... Нужно учиться молчанию! Вот главное из искусств. Сказано вполне достаточно.

– Значит, теперь Теодор будет переворачивать страницы? – затрясла головой третья старуха, древняя и сухая, как веточка, то ли одобряя, то ли осуждая этот выбор. Бриллианты в ее ушах блеснули веселой радугой.

– Почему бы нет? – Валентин стремительно направился к ней через комнату, расцеловал мышинные ручки. – Рад вас видеть, Наталья Петровна, вы совсем не меняетесь. Сколько лет я вас помню...

– Это еще заводские настройки, – жирная Кира Ипатьевна тоже протянула крючковатую руку для поцелуя. – Раньше производили крепкие вещи.

– Да, сейчас народ пошел непрочный, тут вы правы! А вы всё молодеете, Ниночка, ни морщинки! – Валентин повернулся к женщине с мертвым лицом и начал обходить по кругу стол, обращаясь к каждому из гостей. – Здравствуйте, здравствуйте! Рад видеть... Костик, Маргарита Павловна. Как здоровье супруга? Познакомьтесь, это Теодор, дар богов. Если вам больше нравится – Федор... Он весьма застенчивый молодой человек, но обладает неоспоримым достоинством. Умеет держать паузу. Как никто из ныне живущих.

Шуберт стоял у часов, как приколотенный гвоздями, заливаясь краской, не зная, куда девать руки и глаза. Ему казалось, что все гости в комнате перешептываются и смеются над ним.

– Удивительно, как вам нравится шокировать людей! – проговорила толстоногая Ниночка. – Радуйтесь, что здесь все свои. Анна – святой человек. Вы слышите, что я говорю? Ваша жена – святая.

– Выпьем за Анну! – грянул басовитый бородач.

– Мейн либстен! – Валентин с размаху опустился перед женой на одно колено, выхватил из кармана бархатную коробку. – Фот скромный шмук тля мой супрук.

Как ни в чем не бывало, Анна нагнулась и прижалась щекой к его лысине.

– Спасибо, милый. Боже мой. Смотрите, какая прелестная вещь, – она показала гостям раскрытую коробку. Тут же кто-то из женщин помог ей застегнуть браслет на тонком запястье.

– Я скажу, в вашей семье неосуществимые темпы, – заявила чем-то обиженная Ниночка.

– Зато никто не скучает, – улыбнулась Анна, поднося к губам бокал с красным вином.

«Ну и пусть, – ревниво подумал Шуберт. – Какой-то браслет, первый попавшийся». Теперь красота этой женщины уже не пугала, но казалась ледяной и замораживающей. Глядя в нарочито оживленное, потное и какое-то беззащитное лицо Валентина, Шуберт вдруг почувствовал к нему пронзительную жалость. В душе юноши происходило нечто необычайно важное, как, впрочем, и все события этого странного дня.

За его спиной вполголоса обсуждали хозяйку.

– Анята – великомученица, сколько в ней терпения! Не устаю восхищаться. И держится с таким достоинством. После всей этой истории, и сегодня, я бы не смогла...

– Такие испытания должно принимать в христианском смысле, как целебную хирургию души.

– При чем тут хирургия? Нет, я бы поняла, терпеть ради детей. Ради детей лично я готова на всё! Но если людей ничего не связывает...

– Валечка умеет делать подарки, этого нельзя отнять, – возвысив дребезжащий голос, заметила Наталья Петровна. – Я всем хвастаюсь своими кораллами. Вот, посмотрите.

– Могу себе позволить! – засмеялся Валентин, услышав. – Раз уж я разбогател, разменяв свой талант на медяки...

– Во-первых, мы никогда не разбогатеет, потому что ты тратишь больше, чем зарабатываешь, – возразила Анна. – А во-вторых, в нужное время талант уже переходит в стадию мастерства, а это – неизменная монета.

– Каждая звезда рано или поздно становится черной дырой. Или просто дырой... тебе это известно не хуже, чем мне.

Анна улыбнулась ослепительно, оглядывая гостей. Взгляд ее был тягучим и недобрым, как у кошки.

– Хочу пояснить, для тех, кто еще не слышал. Два дня назад Валентин устроил для нас небольшой спектакль. Сбежал после концерта. Заявил по телефону, что хочет всё бросить. Его кумир Глен Гульд прекратил концертную деятельность на пике карьеры. Последние пять лет даже по ночам в постели я слушаю рассуждения о стуле Глена Гульда... Как в прямом,

так и в переносном смысле. Но есть одна разница – Гульд был обеспечен, он не стоял перед необходимостью зарабатывать себе на жизнь. Аты, дорогой, не можешь себе позволить быть аскетом и отшельником. У тебя ничего нет.

– Значит, стану нищим отшельником, – хрипло хохотнул Валентин. – Это даже забавней. Буду скитаться по Европе. Увижу, наконец, Венецию, Париж... Я там бывал, но ничего не видел. Наймусь работать сторожем. В умеренном климате человеку не так много требуется для сносного существования.

– А я думала, ты собираешься ходить с шарманкой по дворам, – она с улыбкой посмотрела на Шуберта. – Обезьянка у тебя уже есть.

Раздались смешки. Шуберт в который раз за этот день залился краской, ощущая укол обиды в самое сердце. Обиды не за себя, а за Валентина, растерянно моргавшего, словно собиравшись расплакаться. Но вместо этого толстяк вдруг ободряюще подмигнул ему, совсем как утром.

– Теперь ты понимаешь, почему я предпочитаю общение с коньяком?

Шуберт просиял, еще не понимая, почему чувства и слова этого человека, еще вчера незнакомого, вдруг приобрели для него такое значение. Ему доводилось мимолетно влюбляться в парней, встреченных в клубах или просто на улице, мучиться ревностью и желанием. Но теперь он переживал нечто совершенно другое.

– Валя, борись, преодолевай себя, – наставляла Кира Ипатьевна, вцепившись пальцами-крючками в рукав Валентина. – Это временный кризис, это свойственно творческой натуре.

– Все мы мечемся между унынием и опьянением успеха, – заявила старушка-веточка. – Нужно держать себя в руках.

– Ты сильный. Зачем повторять чужую судьбу? Ты получил признание, следует ценить... Помни, что великий Моцарт умер в забвении, в тридцать пять лет!

– Я ценю, – кивнул толстяк. – К черту опьянение... Выпьем за трезвость.

– Говорю тебе, не распускайся. Нужно работать, работать и работать...

– Всё на алтарь, – влез в разговор бородатый бас. – Живи для искусства, сукин ты сын, а не для брюха! Смирись, гордый человек!

– Мой организм отравлен искусством, нужны очистительные клизмы!..

Бородач захохотал. Между его крупных передних зубов застрял кусочек зелени с бутерброда.

– Ну что вы его уговариваете? Как будто мы секта, как будто мы его втягиваем, – возмутилась Ниночка. – Пусть отвечает за свои поступки.

– Да перестаньте, – усмехнулся кривой щекой сопровождавший ее мужчина, немолодой и неприметный. – Понятно же, пустая болтовня... Валька бросит выступать? Смешно! Наш вундеркинд две недели не протянет без цирка.

Он взял тарелку и с показным равнодушием начал поглощать салат. Другие гости последовали его примеру, продвигаясь к столу с закусками. Валентин поднял руку.

– Нет, подождите... Я не согласен. Я тоже хочу пояснить. Тебе, Анна, и тебе, Леонид, прежде всего. Это не шутки и не болтовня. Это взвешенное решение. Я серьезен как никогда... И на это есть причины. Дело в том, что... у меня рак прямой кишки.

Молчание, повисшее в комнате, резало уши, как режет глаза яркий свет. Лица гостей выражали недовольство и недоумение. Наконец, старичок в шейном платке подался вперед с показным сочувствием.

– Да что ты говоришь! Когда ты узнал?..

– На прошлой неделе. Положение безнадежно. Мне осталось не больше месяца. Скоро придется принимать морфий.

– У Веры Павловны муж – прекрасный врач-онколог, – спохватился кто-то из старушек.

– Нужно повторное обследование, нельзя сдаваться! – поддержал озабоченный бас. – В Израиле отличные специалисты.

– Боже мой, кого вы слушаете! – мелодично рассмеялась Анна. – А тебе должно быть совестно, Валя... Такими вещами не шутят. Он совершенно здоров, по крайней мере, физически. Леня, пожалуйста, налей мне вина.

Старуха, похожая на мышку, вытянула морщинистую шею.

– Я ничего не понимаю! Так Валечка болен или нет?

– Да нет же, Наталья Петровна, с ним всё в порядке! – успокоила ее хозяйка дома. – Кушайте, прошу вас. Есть водка, есть вино. Скажи им, Валентин.

Толстяк растерянно моргал.

– Что за ерундистика! – громыхнул бас. – Даже я себе такого не позволяю... Стыдно, Валька, ты балбес!

– Нет, я понимаю, придумать рак, но зачем в такой неаппетитной форме? – продолжала недоумевать старушка.

С виноватым видом Валентин развел руками.

– А вы бы что предпочли, Наталья Петровна, опухоль в мозгу или же в пятой точке? Смерть в безумии или в очистительном страдании?

– Я дам тебе телефон моего гастроэнтеролога, – предложила та.

– С кишками у него полный порядок, – пробормотал желчный Леонид. – А вот с совестью...

Шуберту почему-то было до слез стыдно за эту сцену, за клоунаду, которая окончилась глупо, так же, как и началась. За то, как быстро сдался Валентин. Пару часов назад, в кафе, его слова звучали искренней болью, а теперь он юродствовал и позволял посторонним потешаться над вещами, которые так много для него значили.

Напряженное молчание в комнате уже сменилось шумным разговором, в котором слышался смех и возмущенные голоса. Гости наполняли свои тарелки. Старичок в шейном платке показывал Ниночке и двум другим гостям книгу, которую принес в подарок хозяйке – афоризмы о музыке и последние слова знаменитостей. Почти бесплотная Наталья Петровна, опершись о плечо Шуберта, заставила его присоединиться к этому кружку.

– Десять лет собирал материал, многое публикуется впервые. Было сложно найти издателя, но теперь я очень рад. Сотрудничаем. Есть планы. По крайней мере, не стыдно за свою работу.

– А какое самое забавное из предсмертных выражений? – спросила Ниночка. – Вы же помните, наверное? Скажите.

– Не знаю, как насчет забавного, всё же тема обязывает, – старичок завел глаза к потолку. – Но отличились многие. Людовик-Солнце кричал на придворных: «Чего вы ревете? Вы думали, я бессмертен?»

– А Моцарт? – спросила Наталья Петровна, явно равнодушная к этой фигуре. – Найдите мне Амадея.

– Кстати, Малер звал перед смертью: «Моцарт! Моцарт!»

– Я где-то читала, что Чайковский кричал: «Надежда! Надежда!» – заявила Ниночка.

– Я точно буду кричать: «Анна, Анна!» – воскликнул Валентин, оказавшийся рядом с полной тарелкой в руках. Он сунул тарелку Шуберту. – Питайся и помни, художник должен быть голодным! Кстати, а что сказал перед смертью божественный Шуберт?

Старичок пролистнул страницы.

– Нет, это я не включил, там было как-то слишком мрачно... А вот императрица Елизавета, Петрова дочь, напоследок всех врачей перепугала, – старичок лукаво оглядел слушателей. – Поднялась на подушках и спросила грозно: «Я что же, всё еще жива?!»

– Весьма, весьма поучительное чтение, особенно в нашем возрасте, – заметила Наталья Петровна и тут же обратилась к Валентину: – Валечка, а вам штраф.

Этому фанту нужно заглаживать вину. Садитесь-ка за инструмент. У меня студентка пишет диссертацию по типам виртуозности, там вы представлены как выдающийся пример.

Басовитый бородач поддержал просьбу:

– Давай-ка, Валька, не отлынивай. Реабилитируйся в глазах общественности. Лично я тебя тысячу лет не слышал.

– Необходимо, архиважно! – лукаво сощурился старичок. – Кантата в честь именинницы!

Анна подошла, сняла невидимую пушинку с пиджака мужа, погладила по плечу:

– Именинница просит.

Распахнули двери в соседнюю комнату, полупустую. Взглядам открылось бюро, заваленное нотами, несколько стульев, картина на стене и черный, сверкающий лаком рояль. Гости с бокалами потянулись занимать места. Многие продолжали оглядывать Шуберта с насмешливым любопытством.

Подняв крышку, Валентин тронул несколько клавиш, сел на стул с низкой спинкой, привычным движением расправил полы пиджака. Откашливаясь, объявил женским дискантом:

– По многочисленным просьбам трудящихся... Русская народная песня! – И забарабанил по клавишам, захрипел под Высоцкого: – Здравствуй, моя Аня, здравствуй, дорогая!... Здравствуй, дорогая, и прощай...

Гости не оценили шутки, только Наталья Петровна, к которой Шуберт успел проникнуться симпатией, подпела дребезжащим голосом. Анна положила руки на плечи мужа.

– Достаточно на сегодня, хорошо?

Валентин откинулся на стуле.

– Хорошо, раз уже говорить за сокровенную немецкую духовность, я вам сыграю Шуберта... Он умер в тридцать лет, а эту вещь, кажется, написал совсем молодым. Вы скажете: ширпотреб, рингтоны для мобильных. Но я люблю эту пьесу именно за ее арийскую сентиментальность. Это скорее колыбельная, чем серенада. Любовный плач плечистого гестаповца над окровавленным телом еврейского мальчишки. Весьма возбуждает... Итак.

Шуберт снова почувствовал, как запылали его щеки и уши. Звук фортепьяно отвлек внимание гостей, и он смог незаметно пробраться к двери. Ему хотелось курить, но он боялся, что Валентин заметит его исчезновение, и не решился выйти.

Он не особенно любил классическую музыку, но постепенно его захватил незамысловатый мотив, серебристый, журчащий. Почему-то вспомнилось детство, лето, душистое разнотравье на пустыре за центральным рынком, где он бродил, отыскивая среди лопухов стреляные гильзы. Из сегодняшнего дня та жизнь, полная солнца, родительской любви и ожидания счастья, казалась идиллией, завораживающей и эфемерной, какой никогда не была на самом деле. Но в зеркале воспоминаний прошлое казалось лучезарным, а настоящая его жизнь, захватанная чужими пальцами, словно стакан в распивочной, вызывала лишь чувство неисцелимого стыда.

Валентин Сергеевич за роялем был совсем не похож на того человека, с которым Шуберт провел эту ночь. Лицо сделалось сосредоточенным и замкнутым, руки двигались со скупой снайперской точностью. Мелодия текла из-под его пальцев, переливаясь, как блики света на поверхности воды. И Шуберт вдруг отчетливо осознал, что только по случайности попал в волшебную страну, где струится поток забвения, и скоро должен будет навсегда ее покинуть. Ошеломленный, он почувствовал, как слезы подступают к горлу. Затем наступила тишина.

Гости вежливо, но недружно похлопали. Кто-то – кажется, желчный Леонид – насмешливо хмыкнул «браво».

– Шуберт был безответно влюблен в свою ученицу Каролину, дочь графа Эстерхази, – проговорила, повышая голос, Кира Ипатьевна. – Он умер от брюшного тифа.

– Вероятнее всего, он умер от сифилиса, который в то время лечили ртутью. Он заразился от своего друга, поэта Шобера. Они жили вместе, – возразил Валентин беспечно.

– Я бы сейчас выкурила сигарету, – шепнула хозяйка дома, наклоняясь к Шуберту, словно хотела поцеловать. – Вы угостите меня? Мы курим на лестнице.

Он испуганно кивнул.

На лестничной площадке было холодно и сумеречно, каждый звук отдавался эхом. Шуберт достал сигареты, неловко чиркнул зажигалкой. Анна выпустила дым ему в лицо.

– Не обижайтесь на меня, хорошо? Я ужасный человек, но Валентина тоже нужно знать. Отношения с ним – это болезнь. Причем со смертельным исходом, как он любит говорить. Вы давно знакомы?

– Нет, – ответил Шуберт.

– Просто я хочу предупредить. Вам здесь не на что рассчитывать. Я его не отдам, даже во временное пользование... Честно говоря, вам лучше уйти прямо сейчас.

«Поцелуй меня в задницу», – подумал Шуберт и, расхрабрившись, едва не произнес эти слова. Но двери распахнулись, и Валентин появился на пороге, угрожая насупился, упер руки в бока.

– В полночь на край долины увел ты жену чужую! Ты думал – она невинна? – продекларировал он, сверкая глазами.

– Твой друг хочет попрощаться, – проговорила Анна с той же застывшей улыбкой.

– Жаль, жаль... Но что поделаешь? Было приятно, надеюсь, не в последний раз...

Толстяк засуетился в прихожей, помогая Шуберту найти свою куртку, вручая ему пакет с вещами. Растерянный Шуберт молча подчинился, пытаясь поймать взгляд Валентина, и разгадал маневр, только когда тот тоже накиннул плащ.

– Я провожу! Посажу на такси...

Анна преградила ему дорогу.

– Ты никуда не пойдешь. Больше этого не будет.

Старичок в шейном платке, сутулый Леонид и Наталья Петровна тоже суетились в прихожей.

– Валечка, ну что это такое? Куда? Мы не отпускаем... Семнадцатую Бетховена, аллегро, без возражений!

– Скажите на милость, зачем немцы написали столько музыки? – бормотал Валентин Сергеевич. – Нет, нет! Я только провожу! Буквально на минуту...

– Если бы ты был в состоянии хоть немного понять, что чувствуют другие люди, ты бы сам себе набил морду, – проговорила Анна, почти не размыкая губ, продолжая улыбаться.

– Юпитер, ты сердисься! Обожаю твой голос... Не правда ли, ужасно дожить до возраста, когда просьба женщины катастрофичней, чем отказ.

Не меняя выражения лица, она дала ему пощечину. И тут же ударила еще раз, кулаком.

В притворном ужасе он попятился, закрывая голову руками.

– О алмазная донна! Бей меня, пинай своими замшевыми туфлями... Я весь вечер мечтал оксвернить их поцелуями!

Она зло рассмеялась и в самом деле пнула его по коленке. Он шутиливо взвыл.

– Bravo! Всё те же на арене! – зло выкрикнул Леонид и начал хлопать в ладоши. Старичок в платке и бородатый бас кинулись к Анне, которая схватила с подзеркальника мраморную пепельницу и уже размахнулась, чтобы бросить.

В сутолоке у дверей Шуберт почувствовал, как Валентин сжал его руку.

– Спускайся и жди меня внизу.

Сбежав по ступенькам, Шуберт выскочил на улицу, в теплую промозглую слякоть. Шмыгнул под козырек автобусной остановки. Перед глазами у него до сих пор стояла сцена, разыгравшаяся в прихожей. Вспоминая лицо женщины, искаженное ненавистью, он невольно пони-

мал, что не он был причиной божественного гнева. Улыбка, взгляд, тяжелая пощечина были наказанием за другие, куда более весомые грехи, чем сегодняшняя выходка Валентина Сергеевича, нарочно явившегося на семейный праздник в сомнительной компании. Шуберт слишком явственно осознавал, что он лишь помеха, случайность, соринка, попавшая в механизм. Ему и в самом деле лучше было уйти прямо сейчас – сесть на автобус, доехать до ближайшего метро... Но не мог сойти с места, прилипнув взглядом к дверям подъезда, козырек над которым был украшен бронзовыми гербами и лавровыми листьями.

Валентин наконец вышел, вылетел из дверей. Шуберт кинулся ему навстречу. Тот привычно поднял руку, подзывая такси.

В фойе гостиницы пришлось ждать, пока портье заселит в номера группу иностранцев. В туалете Шуберт протер салфеткой туфли, но почему-то не почувствовал прежней радости обладания настоящим сокровищем. Всё это время Валентин Сергеевич молчал.

В номере, не снимая мокрого плаща, тот лег на кровать.

– Мерзко признаваться, но это всё вранье. Творческий кризис, метания... Балаган, – сказал он хрипло. – Была история с учеником. Довольно грязная. Мы зашли слишком далеко, а потом он всё рассказал родителям. Деньги... Дело замяли, но все они знают. Смешно... не могу его забыть.

На его лице появилось выражение, заставившее сердце Шуберта болезненно сжаться. Стало вдруг понятно, что прыжок с балкона вовсе не вычеркнут из планов, а только отложен до времени.

Валентин Сергеевич сел на постели, обхватил руками голову. Потом, после тяжелой длительной паузы, поднял на Шуберта недоумевающий взгляд.

– Ты всё еще хочешь остаться? Хорошо. Иди в душ. Я после...

Он дотянулся до пульта и включил телевизор, нашел новостной канал.

Шуберт ушел в ванную, разделся, сел на керамический бортик и почувствовал, как наваливается усталость. Он знал, что ничего не сможет изменить. Впечатления бесконечного дня мешались в его сознании и наконец словно оборвались над краем пропасти. Всё кончилось.

Голос теледиктора был слышен сквозь неплотно прикрытую дверь.

– Над Европейской частью неподвижно застыл аномальный атмосферный фронт, препятствующий проникновению холодного воздуха. Но уже во вторник установится холодная погода. Перемещение воздушных масс...

Наконец, дрожа от холода, Шуберт решился выйти из ванной. За распахнутым окном стояла темень, тянуло морозным дыханием приближающейся зимы. Он оглянулся и понял, что комната давно уже пуста.

Брить или Не брить

Женщина с ярко-рыжими волосами, полноватая, сидела за столиком кафе-шашлычной. Это была одна из тех романтических натур, кто, даже перешагнув рубеж «баба ягодка опять», не изменяют моде своей юности и продолжают носить летящие юбки годе, полупрозрачные кофточки с открытыми плечами, соломенные шляпы.

Пляжную шляпу женщина сняла и положила рядом на коленкорový диван. Поправила бусы из поддельной бирюзы, достала зеркальце и начала обводить лиловой помадой рот с опущенными уголками. Помада ложилась неровно – мешали отчетливо видимые усики над верхней губой.

Пристальный наблюдатель мог обнаружить некое стоическое сродство рыжеволосой женщины и заведения общепита, владельцы которого так же упорно сопротивлялись неумолимому движению времени. В недавно обновленных интерьерах кафе ощущался неистребимый дух 90-х – смесь дешевизны и вычурности. Неровные, наспех покрашенные стены украшали золотые карнизы и картины в рамках из турецкого позолоченного пластика. Коленкорové диваны и стулья из железных гнутых трубок не отличались ни удобством, ни красотой. Папки с преискурантом еды и напитков были сделаны из такого же коричнево-красного коленкора.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.